

НИКОЛАЙ ГЕЙНЦЕ

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ
САМОДЕРЖЕЦ

Николай Гейнце
Первый русский самодержец

«Public Domain»

1897

Гейнце Н. Э.

Первый русский самодержец / Н. Э. Гейнце — «Public Domain», 1897

«На дворе стоял сентябрь 1477 года. Бледные осенние тучи бежали по небосклону. Из них сыпался мелкий частый дождь; отдаленные горы и вершины были покрыты как бы серебряною дымкою; ветер то бурливо завывал по ущельям, раскачивая макушки огромных дубов и шумя последними желто-красными листьями молодого осинника, то взрывал гладкую поверхность реки Волхов, и тогда, пробужденная от своего величественного покоя, разгневанная стихия бурлила и клочотала, как кипятик...»

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	8
III	12
IV	15
V	17
VI	20
VII	22
VIII	24
IX	27
X	29
XI	31
XII	34
XIII	39
XIV	41
XV	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Николай Гейнце

Первый русский самодержец

Часть первая

Господин или государь?

I

В Новгороде

На дворе стоял сентябрь 1477 года.

Бледные осенние тучи бежали по небосклону. Из них сыпался мелкий частый дождь; отдаленные горы и вершины были покрыты как бы серебряною дымкою; ветер то бурливо завывал по ущельям, раскачивая макушки огромных дубов и шумя последними желто-красными листьями молодого осинника, то взрывал гладкую поверхность реки Волхов, и тогда, пробужденная от своего величественного покоя, разгневанная стихия бурлила и клочкотала, как кипяток.

Вдруг среди этих чудных по своему разнообразию звуков природы раздался звон вечернего колокола в Новгороде: раз, два... и залился. Вся окрестность, содрогнувшись, заняла от этого звука.

Народ, заслыша его, повалил буйными и нестройными толпами на Ярославово дворище, окружавшее вече, и буквально затопил его. Рогатки, заграждавшие улицы, раскидывались и трещали от напора толпы.

Призыв на вече раздался рано утром, и рогатки еще не были раздвинуты ярыжками¹.

– Что за невзгода снова грозитя на нас бедных! – восклицали иные бегущие вслух, а другие только думали то же про себя, спеша достигнуть двора Ярославлева, с которого несся вещий и пронзительный звук вечернего колокола.

Без всякого порядка, без малейшего уважения к этому священному месту, бросился народ к воротам и стучал в них чем попало, угрожая выломать их, или же сшибить камнями звонаря, если его тотчас не впустят в общее собрание.

Несколько караульных, – иные с бердышами, иные с пищалями, чинно разъезжавших вокруг двора, – были смяты, а полусонные ярыжки, шатавшиеся в изумлении и хлопотах во все стороны с поднятыми, присвоенными их должности палками, были биты ими же.

Наконец, ворота подались, скрипнули, народ еще теснее прижался к ним, и они начали медленно растворяться.

Толпа с шумом, подобно бурному потоку, бросилась в них, но вдруг отступила, как бы пораженная внезапным видением, окаменела и мгновенно оказалась с обнаженными головами.

Архиепископ Феофил, во всем облачении, с животворящим крестом в руках, сопровождаемый знатнейшими сановниками, посадниками города и клиром, появился перед народом.

– Люди дерзновенные! – раздался среди наступившей могильной тишины его грозный голос. – Образумьтесь! На что покушаетесь вы и перед кем? Разве забыли вы, ослушники богопротивные, пред чьим лицом предстоите? Смиритесь и приложите внимание к грамоте, которую прочтут вам. Но предваряю вас: размыслить хорошенько, о чем пишет к вам законный ваш князь. Вот наместник его, прибывший к нам вчера о вечерье.

¹ Полицейские того времени.

Архиепископ указал рукою на бывшего тут же боярина Федора Давыдовича и продолжал:
– Не посрамите себя перед ним, дайте в душе вашей место голосу совести и отвечайте ему кротко, что внушит вам рассудок. Настало время решительное. Отечество наше зыблется. Вы сыны его; я пастырь ваш; мы должны поддержать, исцелить язвы, которые и прежде гнездились в самом сердце его! Обдумайте, решитесь и преклоните колена перед милосердной заступницей нашей, святой Софиею.

Феофил кончил и подал знак рукою. Посадник Яков Короб начал читать запросную грамоту великого князя:

– «Осподарь всея земли русския и великий князь московский, владимирский, псковский, болгарский, рязанский, воложский, ржевский, бельский, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кондийский и иных земель отчин и дедич, и наследник, и обладатель, Иоанн Васильевич, посылает отчине своей Великому Новгороду запрос с ближним боярином своим и великим воеводою, Федором Давыдовичем: что разумеваает народ его отчины под именем государя вместо господина, коим назвали его прибывшие от них послы архиепископские: сановник Назарий и дьяк веча Захарий? Имуть-ли они желание видеть власть судную в одних его руках и хотят ли присягнуть ему как полному властелину, единственному законодателю и судии не причастному, не иметь у себя тиунов, кроме княжеских, и отдать ему двор Ярославлев, древнее место веча? Если так, то он посылает им милость свою и скоро имеет вступить во владение своих праотцев. Сию запись скрепил печатник печатью великокняжескою, князь Юрий Патрикеев. Писал ее дьяк Анциферов, по реклу² Шершавый.

Далее были прочтены скрепы сановника Назария и дьяка Захария.

Когда посадник окончил чтение этой грамоты, несколько минут народ хранил молчание ужаса, затем уже послышался глухой ропот:

– Это все бояре да посадники мудрят; якшаются с москвитянами, одаряются ими и тайком от нас обсылаются вестями да записями!

– Зачем же вече-то установлено, как не про всех? Что мы черных сотен слобод людишки, так нам и не поверяют умыслы свои! Вот от белых-то и замарались! Дело вышло на разлад, так наши же руки и тянут жар загребать! – слышались там и тут возгласы.

– Как бы не так! Что сами заварили, пусть сами и расхлебывают! – крикнул чей-то голос.

– Кто отвращает лицо свое от блеска меча вражеского, тот недостоин называться гражданином Новгорода Великого! – возвысил голос архиепископ. – Но дело не в том. Прение наше должно совершиться в льготу отчизне, иначе месть Божия над нами!

– Владыко святой! – начал тысяцкий Есипов. – Ты сам видишь, что всю судную власть забирает себе наместник великокняжеский. Когда это бывало? Когда новгородцы так низко клонили свои шеи, как теперь перед правителем московским? Когда язык наш осквернялся доносами ложными, кто из нас был продавцам своего отечества? Упадешь? Казнь Божия совершилась над ним! Так да погибнут новые предатели – Назарий и Захарий. Мы выставляли князю московскому его оскорбителей, выставь и он нам наших!

– Вестимо так, требуем этого по договорным грамотам! – раздались народные крики.

– Пойдите, послушайте меня, или же слагаю теперь же сан свой с себя! – заговорил Феофил, возвышая голос, заглушаемый народом.

Из уважения к пастырю душ воцарилось молчание.

Архиепископ заговорил:

– Чьи очи из вас не зрили бедствия уничтожения и срама отечества в недавнем времени? Чей слух не был раздираем воплями соотечественников – братьев ваших? Чье сердце, содрогаясь, не соболезнавало в те тяжкие времена? Ваша кровь не совсем еще высохла на стенах крепостных, и вы, кичливые, опять становитесь доступны гордости, самонадеянности и непо-

² По прозванию.

слушанию; опять даете пищу мечу вражескому, опять хотите утолить жажду его собственной кровию! Проклят тот, кто несправедную силу не отражает силою, но вдвое тот – кто противится правоте.

– Владыко святой, да видит Бог, мы неповинны. Ты сам видишь, на нас напали. Между нами предатели, Иуды! Так бы и Литва не поступила! – снова закричал народ.

– Дети мои, – кротко и величественно отвечал Феофил, – сознайтесь, чашу горшую должны допить вы за прошедшую вину свою, ничем неискупимую. Не ропщите же, но допивайте ее. Презренные наушники зло хитрят над вами: отклоните от их наветов слух свой, будьте терпеливы и предайтесь на волю Провидения. Мы обошлемся сперва с князем, обвиним предателей и поклонимся ему; предатели будут наказаны собственным грозным судом своей совести, а от нас да будут они преданы анафеме! Пойдемте же, преклоните колена перед престолом Всевышнего: это будет священным началом нашего дела!

Он снял клобук, благоговейно перекрестился и пошел.

– Анафема изменникам! – торжественно воскликнул клир.

– Анафема! да будут преданы анафеме изменники – предатели отечества! – подхватил народ и в стройном порядке отправился за своим духовным владыкою.

Величественную и стройную картину представил из себя храм святой Софии, основанный князем Владимиром, сыном Ярослава Великого, оставшийся донине единственным памятником древнего Новгорода, когда благочестивый архиепископ, облаченный в крещатую ризу, с паствой своей преклонил колено перед алтарем и клир умирительно запел молитву «Царь Небесный».

По окончании ее Феофил вдохновенно произнес:

– Царь Небесный услышит нас, когда мы dokonчим благословенное начало, но гром Его не замедлит разразиться в противных поступках. Опять повторяю вам: будьте кротки и терпеливы. Видите ли вы в куполе образ Спасителя со сжатою десницею вместо благословляющей? «Аз-бо, – вещал глас писавшему сию икону, – в сей руке Моей держу Великий Новгород; когда же сия рука Моя распространится, тогда будет и граду сему окончание».

Растроганный народ начал молиться почивающим в храме мощам: святителя Никиты, печерского затворника, благоверной княгини Анны, матери его, приложился к Евангелию, писанному святым Пименом, и иконам Всемилоственного Спаса и Премудрости Божией – Петра и Павла, затем вышел на паперть, поклонился праху архиерея Иоакима и, освеженный и успокоенный пастырским словом, мирно разошелся по домам.

II В тереме Марфы

Темная ночь давно уже повисла над землею... Луна была задернута дождевыми облаками, ни одна звездочка не блестела на небосклоне, казалось, окутанном траурною пеленою. Могильная тишина, как бы сговорившись с мраком, внедрилась в Новгороде, кипящем обыкновенно деятельностью и народом. Давно уже сковала она его жителей безмятежным сном, и лишь изредка ветер, как бы проснувшись, встряхивал ветвями деревьев, шевелил ставнями домов и опять замирал.

Вся Никитская улица с своими домами, балаганами и лачужками утопала в непроницаемом мраке. Только в самом конце ее в продолговатом окошке высокого терема, обращенном на двор, мелькал огонек. Терем этот отличался от других особенным искусством и красотой в постройке, а потому назывался «Чудным теремом».

Его окружал на большое пространство высокий забор с зубцами, а широкие дощатые ворота, запертые огромным засовом, заграждали вход на обширный двор; за воротами, в караулке дремал сторож, а у его ног лежал другой – цепной пес, спущенный на ночь. Кругом, повторяем, царил мертвая тишина, лишь где-то вдаль глухо раздавалась перекличка петухов, бой в медную доску, да завывание собак.

Послышались чьи-то тяжелые, уверенные шаги. Кто-то шел вдоль забора и, оставаясь у калитки, вырубленной в воротах, отыскал проволоку, протетую сквозь нее, и потянул ее к себе.

Раздался тонкий звук колокольчика.

Чуткий пес, давно уже настороживший уши, рывкнул, вскочил, подsunул рыло под подворотню и радостно забил хвостом о землю. Сторож тоже встрепенулся, и с языка его сорвался обычный вопрос:

– Кто идет?

– Свой! – ответил ему не громко, но грубо, поздний гость.

В ту же минуту сторож подскочил к калитке, медное кольцо зазвучало, и незнакомец, тщательно закутанный, перенес свою ногу через высокий порог, оправил полы своего широкого охабня и опять грубым голосом сказал сторожу:

– Тебе, старый леший, сидеть бы на горохе, да пугать бы воробьев. Что так рано пришиб тебя сон? Разве забыл, что должен дожидаться меня?

– Не во гнев твоей милости, господине, от самой боярыни вышел приказ держать ворота на запоре! – отвечал ему сторож.

Вошедший посмотрел на окно терема.

– Что это за огонь в оконце?

– Должно быть, светец горит, али жирник, а статья может свечи теплятся в образной боярышницей перед ликом праздничной иконы. Завтра ведь праздник Рождеству Богородицы.

– Не в прок мне знать о празднествах твоих. Говори, старый плут, не укрывается ли кто у ней? Все ли наши собрались?

– А кто их знает. Я окромя тебя, да князя Василия Ивановича, никого не знаю. Вишь, ходят все ночью, как таги.

– Скажешь ли ты мне, кто с ней, или я вызову у тебя язык вот этим! – вскрикнул незнакомец и, распахнув полы охабня, показал на кинжал, блеснувший во мраке своей серебряной чешуей.

– Сейчас, боярин, сейчас. Пошел к ней еще о вечери; в память ли тебе тот чернец-то, что, бают, гадают по звездам? Мудреный такой! Ну, еще боярыня серчала все на него и допрежь не допускала пред лицо свое, а теперь признала в нем боголюбивого послушника Божия? В самом

деле, боярин, уж куда кроток и смирен он! Наша рабская доля – поклонись ему низехонько, а он и сам также.

– Кто бы это? – проворчал сквозь зубы вошедший. – Да это соловецкий пришелец, монах тамошней обители, все оттягивает у легковерной бабы льготы от земель ее на свой монастырь. Ну, я выжму ж его от нее... Он что-то мне подозрителен, – продолжал он вслух высказывать мысли, направляясь к крыльцу терема.

Терем этот принадлежал вдове бывшего новгородского посадника Исаака Борецкого – Марфе.

В описываемую ночь она сидела в своей наугольной гриднице, где на широком дубовом столе догорала восковая свеча в точеном, костяном светце и освещала передний угол с иконами в богатых окладах. Гридница эта была под сводами и роскошно убрана во вкусе того времени. Стены ее были обиты алым бархатом с раскиданными на нем серебряными и золотыми звездочками, а по бокам воткнуты были красивые, позолоченные стрелы, как бы поддерживая эти богатые обои. В глубине гридницы стояло высокое ложе с пышными, шитыми в узор шелками изголовьями, задернутое кружевным пологом.

Марфа Борецкая сидела недалеко от него, важно раскинувшись на лавке, покрытой соболями.

Это была красивая, но далеко не молодая женщина. Покрывало ее, отороченное золото-шелковой бахромою, было немного опущено на лицо, и из-под него мелькали быстрые глаза, особенно когда она повелительно устремляла их на своего собеседника, скромного чернеца, сидевшего перед ней с опущенным долу взором.

Этот чернец был отец Зосима, еще довольно молодой настоятель Соловецкой обители.

– Да скажи же мне, отче Зосима, каким случаем сделалась известной обитель Соловецкая и по чьим следам вошел ты в нее? – говорила Марфа.

– Невидимая рука Божия привела меня в тихое и уединенное пристанище, – отвечал отец Зосима. – Предместник мой, святитель Савватий, бывший инок Кирилло-Белозерского монастыря, искал пустыни, где бы мог укромно возносить молитвы свои к престолу Всевышнего и безмятежно кончить дни свои, пустился странствовать с духовным братом своим Германом. Они отыскали такое место на диком, уединенном, совершенно безлюдном острове и поселились на нем в 1442 году; там выстроили они себе убогий шалаш под мрачными сводами елей, недоступными солнечным лучам, а подле него часовню и дожили срок жизни своей тихо и благословенно.

– Как же ты переступил рубеж светской жизни? – продолжала допытываться Борецкая.

– Молва и слава о подвигах моего предместника огласилась во всех концах земли русской, сердце мое закипело святым рвением – я отверг прелесть мира, надел власяницу на телесные оковы и странническим посохом открыл себе дорогу в пустыню Соловецкую, обрел прах предместников моих, поклонился ему, и искра твердого, непоколебимого намерения, запавшая мне в душу, разрослась в ней и начала управлять всеми поступками моими. С благословения покойного архиепископа новгородского Ионы, основал я храм и огородил его стенами. Люди чуждые мира стекались ко мне во всех сторон и охотно понесли со мной тяжелый крест, скоро сделавшийся для нас легким; все избрали меня настоятелем, и это избрание довершил Иона благословением своим и поставил меня в игумены. Мощи святителя Савватия перенесли мы со всем благочинием в обитель, где почивают они и донныне. С тех пор живем мы тихо, миролюбиво и привольно. Грамотою новгородской предоставлено нашей обители владеть островами Соловецким, Анзерским, Заяцким и другими. Мы, сколько могли, улучшили обитель: питаемся рыбною ловлею и засеянными нашими руками овощами; завели солеварню, провели каналы от потопления и без всякой нужды ожидаем вечности.

– И тебе, отче святой, не взгрустнулось по свету в юные годы твои? Не наскучили труды тяжкие, каждодневные, ни тогда, ни теперь?

– Они-то и не дали места скуке в душе моей, посвященной Богу и трудолюбию. Тогда я был крепче телом, ныне – духом. От молитвы – к трудам, от трудов – опять к молитвам. Мне некогда было скучать и кручиниться. На душе было легко, на сердце весело. В часы отдохновения, бывало, выйдешь поразмыслить о своей новой жизни, взглянешь на все окружающее, начнешь созерцать искусство Небесного Художника – и мысли потонут в дивной красоте. Дикое, но прекрасное очарование положительно сковывает тебя: высокие развесы елей, пышными шатрами нависшие и шумно раскачивающиеся над головой, а под ногами мрачное море, по которому ходят бурливые волны, глаз обнимает бесконечную сизую пелену, кипящую сверкающими алмазами при светиле дня. Одна мысль, что ты находишься на краю земли, отдаленном ото всего мира, возбуждает благоговейные и высокие чувства, не радость и не печаль закрадывается в душу, а что-то необъяснимое, что выше того и другого. Когда же в немом восторге слеза умиления прольется из глаз, упадет на сердце и освятит его, когда душа зарвется из пленной оболочки своей и запросится в мир чудес и света... тогда поймешь этот мир, несравненно более прекрасный, нежели оставленный тобою.

Зосима умолк.

Благоговейно слушала Марфа вдохновенные слова святого мужа и, после некоторой паузы, растроганным голосом сказала:

– Да, у кого святое тепло на сердце, тот всем доволен; но у кого душа больна...

Она не могла более продолжать и быстро надвинула покрывало на все лицо, чтобы он не прочел в нем движения сердечных мук.

– У кого она страдает светскими помыслами, так ее и многим не удовлетворить: это бездонный сосуд, которого ничем никогда не наполнишь, – отвечал, понявши ее, отец Зосима.

– Истинно верую в слова твои, – начала она опять, успокоившись. – Помнишь ли, праведный отче, когда ты искал покровительства моего от обиды двинских жителей. Я владею близ страны, тобой обитаемой, богатыми селами, но я отказывала тебе во всякой помощи. Теперь совесть, раскаяние мучат меня.

– Человеку долженствует помнить одно добро; тебя смутил искуситель в образе неверного литвина. Прости меня, боярыня. Хоть ты чтить его своим суженым, но истина руководствует мною, и я вторично повторяю устами ее: «отжени от себя врага, удались от зла и сотвори благо».

Она сидела с поникшей головой.

– И тогда неправеден был гнев твой, – продолжал Зосима. – Вспомни, сколько щедрот своих излил на тебя законный князь твой: все имущество твое, золото, серебро, камни дорогие и узорочья всякие, поселя со всеми землями и угодьями остались сохранены от алчбы вражеского меча; жизнь твоя, бывшая подле смерти, искупилась не чем иным, как неподкупной милостью великого князя московского. Сверх того, сын твой Дмитрий также не обойден был ею и пожалован знатным титулом боярина московского. Чего же недостает ненасытности твоей?

Глаза Марфы блеснули из-под вновь приподнятого ею покрывала.

Было заметно, что напоминание о прошедшем затронуло слабую струну ее сердца.

– Но где же сыновья мои? – воскликнула она. – Один под черным рубищем муромского монаха, быть может, скитается без приюта и испрашивает милостыню на насущное пропитание; другой, – жалованный боярин твой, – под секирой московского палача встретил смертный час! Это ли милость великокняжеская!

Она перевела дух.

– Я призвала тебя и одарила богато, чтобы посоветоваться, как отвратить общую напасть, грозящую всему Новгороду, а ты, пробудив во мне заснувшую было ненависть к мучительнице-тиранке – Москве, заставляешь еще каяться за то, что я люблю отечество свое и не меняю его на гонителя сына моего, меня самой, моей родины! Нет, Марфа не укротится, не посрамит себя!

– Много я сказал бы тебе на слова твои, – прервал ее отец Зосима, – но ты, несомненно, слышала уже слова владыки нашего Феофила, а мне остается только домолвить. Я прозреваю цель твою, меня не смутят козни любимца твоего Болеслава Зверженовского. Вы хотите властвовать! Но помните: кто выше станет, тот быстрее падет! Любовь всякая, как и твоя к родине, бывает часто слепой. Если ты не желаешь видеть света истины, то отпусти меня – я более не нужен тебе, и дары твои оставь при себе: они тяжелы, не по силам моим.

– Тебя любит народ. Как молитвы твои доступны слуху Всевышнего, так и увещевания на подвиги бранные воспаляют сердце каждого новгородца против врагов отчизны! – начала было умиловлять его Марфа.

– Я не вижу их, – сказал он равнодушно, вставая со своего места.

– Так благослови же хоть меня на это, – выговорила с заметною досадою огорченная Марфа, поспешно вставая со скамьи.

– Отныне и до века благословляю и заклинаю тебя именем Вездесущего Свидетеля всех дел и помышлений наших, и всеми святыми угодниками новгородскими, и матерью-заступницею нашею, святой Софиею, только на добрые дела! – произнес торжественно Зосима и вышел.

– Гордый монах! – прошептала Марфа и в волнении начала ходить по светлице.

III Клятва

Шаги отца Зосимы еще не затихли на чугунном полу узких сеней терема Борецкой, как Болеслав Зверженовский – незнакомец, разговаривавший со сторожем, – вошел в противоположную дверь светлицы Марфы, блеснув из-под своего короткого полукафтаныя ножами кривой польской сабли.

– Здравствуй, боярыня, – сказал он мрачно, с заметным неудовольствием в голосе, низко и почтительно кланяясь хозяйке.

– А, это ты, пан, – ласково приветствовала она его, хотя выражение ее теперь почти открытого лица носило следы только что пережитого душевного волнения. – Ну, что нового? Я давно поджидаю тебя!

– Свет наш состарился: что же искать в нем нового? – коротко отвечал он.

– Ночь уже очернила его, теперь он не белый, а во мраке, и в этих случаях, по моему мнению, новостям должен быть урожай, – с ударением на каждом слове проговорила Марфа, усаживаясь на скамью.

– Ты, боярыня, сама была окружена за последнее время чернотой, от которой не спасет тебя и свет, а во мраке – новости мрачные; не спрашивай же о них!

– Что замышляешь ты сказать мне? – озабоченно спросила она, не поняв, или не желая понять его намеков. – Или худой оборот приняли наши дела, или мало людей на нашей стороне? Возьми же все золото мое, закидай им народ, вели от моего имени выкатить ему из подвала вино и мед... Чего же еще? Не изменил ли кто?

– Никто; все идет хорошо, – спокойно отвечал Болеслав, садясь возле Борецкой по данному ею знаку.

– С чего же ты такой озабоченный, пасмурный?

– Не дух ли сына твоего, Федора, до меня являлся проститься с тобою? – ответил он ей вопросом.

– Нет, это был чтимый Зосима, муж разумный, но... несколько... не знаю, что и сказать о нем.

– Не в нем дело! – раздражительно прервал он ее. – Ты давно не видала своего сына?

– С тех пор, как московские тираны выволокли его из родных стен и принудили постричься в Муроме; напрасно я старалась подкупить стражу, лила золото, как воду, они не выпустили его из заключения и донныне, не дозволили иметь при себе моих сокровищ для продовольствия в иноческой жизни... Но к чему клонится твой вопрос? Нет ли о нем какой весточки? – с трепетным волнением проговорила она.

– Боярыня, – торжественно, громко произнес Зверженовский, поднимаясь с лавки, – будь тверда! Ты нужна отечеству. Забудь, что ты женщина... докончи так, как начала. Твой сын уже не инок муромский, не черная власяница и тяжелые вериги жмут его тело, а саван белый, да гроб дощатый.

– Как?.. он... второй?..

– Его домучили... Сегодня я узнал об этом достоверно от одного муромца, очевидца его последних минут. Но будь тверда!

Трудно описать выражение лица Борецкой при этом известии; оно не сделалось печальным, взоры не омрачились, и ни одно слово не вырвалось из полуоткрытого рта, кроме глухого звука, который тотчас и замер. Молча, широко раскрытыми глазами глядела она на рокового вестника, точно вымаливала от него повторения слова: «месть». Зверженовский с злобной радостью, казалось, проникал своими сверкающими глазами в ее душу и также молча вынул из ножен саблю и подал ее ей.

– Значит ты понял меня? – произнесла она хриплым, сдавленным голосом.

Он кивнул головой и, сложа руки на груди, вопросительно глядел на нее.

– Клянусь острием этой сабли, клянусь кровью и прахом сыновей моих, я изнурю себя, лишусь своего имущества, но уязвлю гордыню московского князя под стенами Новгорода, или пусть погибну под ножами его клеветов! – торжественно произнесла Марфа, размахивая саблей, и глаза ее блестели, как сталь, которую она держала в руке.

Картина была достойна великого художника: хитрый поляк с сверкающими злобною радостью глазами, с шершавой головой и смуглым лицом, оттененным длинными усами, казалось, был олицетворением врага и искусителя человечества, принимающего исповедь соблазненной им жертвы.

– Через мой труп перешагнут на тебя твои враги, боярыня, – хвастливо произнес он, – а победа надо мной достанется им дорого.

– А если она будет на нашей стороне?

– Тогда гуляй мечи на смертном раздолье! Весь Новгород затопим вражеской кровью, всех неприязненных нам людей – наповал, а если захватим Назария, да живьем еще, я выдавлю из него жизнь по капле. Мало ли мешал он мне, да и тебе; бывало, ни на вече, ни на встрече шапки не ломал. А Захария посадим верхом на кол, да и занесем в его притон – Москву. Нужды нет, что этот жирный бык не бодается, терпеть нам его не след.

– А после?.. – с восторгом начала Марфа.

– А после, – прервал он ее, – после тебе в руки жезл правления... Казимир твоя правая, а я – левая рука...

Борецкая дико, радостно захохотала.

– Ты... ты, – произнесла она, тихо переводя дух, – ты будешь моим, я твоею... жизнь поделим поровну.

Вдруг в древнем Херсонском монастыре, на Хутыне, заныл колокол, брякнул несколько раз и опять замолк; только ветер, разнося дождевые капли, стучавшие по окнам, гудел как труба – вестница чего-то недоброго.

Злоумышленники вздрогнули и переглянулись между собой.

– Что бы это значило? – почти шепотом сказала Марфа. – В глухую ночь кто может взойти звонить на колокольню? Кажется, нам не слышалось?

– Нет, это, должно быть, ветер шевельнул колоколами, – отвечал Зверженовский с расстановкой, прислушиваясь. – Вот опять стало тихо.

– Однако это не даром... мне что-то жутко! Уж не бунт ли затевается? Кажется, рано. Не предупредил ли нас кто-нибудь?

В это время на дворе заскрипела калитка, залаяла собака и слышались голоса входивших на двор людей.

– Бабушка, бабушка! Мне страшно, не спится что-то, да и грезы все такие страшные, будто ты... – заговорил сквозь слезы, дрожа всем телом, вбежавший десятилетний внук Борецкой, сын ее сына Федора Исаакова.

– Что ты, Васенька, чего испужался? – прервала его Марфа, лаская. – Что такое тебе привиделось?

– Да вот, будто ты, да пан этот, – ребенок указал рукой на Зверженовского, – хватаете меня мохнатыми руками и хотите стащить с собой в яму, оттуда тятенькин голос слышится, да такой слезливый, и он будто, сидя на стрелах, манит меня к себе. Кровь из него ручьем хлещет, а глаза закатились. Мне не хотелось прыгать к нему, да вот пан этот так на меня глянул, что я не вспомнил, сотворил крестное знамение, зажмурился, вскрикнул и проснулся. Вокруг меня темно, и, кажись, наяву, представился мне опять тятя, поглядел на меня так жалобно, к вам сюда кулаком погрозились и пропал. Я хотел выговорить молитву: силюсь, да не могу. Тут оглушил меня звук колокола... Отец-то мой давно уж мне грезится.

– Полно, полно, позабавься, да полакомься гостинцами... и все пройдет, – в смущении заговорила Марфа и высыпала в подол его рубашки из коробки всяких сладостей.

Ребенок ушел с пришедшей за ним нянькой.

– Должно, это наши стучат по сеням, а то бы рабы твои остановили незваных гостей! – радостно сказал Зверженовский, заметно ободрившись.

– И впрямь наши, – отвечала Марфа и вместе со своим гостем перешла из гридницы в соседнюю советную палату.

Там действительно уже были налицо все их единомышленники: сам тысяцкий Есипов, степенный посадник Фома, посадник Кирилл, главный купеческий староста Марк Панфилов, из житых людей³, Григорий Куприянов, Юрий Репехов и другие старосты концов: Наровского, Горчанского, Загородского и Плотницкого, некоторые чтимые в Новгороде купцы, гости и именитые, наконец, такая же знатная и богатая вдова, как и Марфа, Наталья Иванова, которая хвасталась, что великий князь Иоанн, в бытность свою в Новгороде в 1475 году, ни у кого так не был роскошно угощен, как у ней.

³ Обывателей.

IV

Среди спасителей отечества

После взаимных приветствий жданные гости разместились по широким лавкам.

Первая начала Марфа, обратившись к тысяцкому Есипову.

– Что, велемудрый боярин, соглашается ли с нами народ? На нашей ли улице праздник?

– Пока еще будни на нашей улице, боярыня, вот что скажет завтра. Золото, серебро и вино действуют; в хмельном разгуле народ побушевал, потолокся на площади, да и разошелся по домам, – отвечал Есипов.

– Теперь время действовать словами. Вон Феофил как опешил толпу велеречием своим, все пали ниц и заняли об отпущении вины, – заметил посадник Фома.

– Да, он все дело на свой лад настроил, – подтвердила Марфа.

– Бочка меду да ложка дегтю, красно на устах, да черно на душе его, так и всем будет: сладко во рту, да горько на сердце отрыгается! – вставил свое слово Зверженовский.

– Я сама завтра явлюсь перед народом. Он еще помнит меня и поминает... – начала было Марфа.

– Проклятьем, – перебила ее Наталья Иванова. – Я сама слышала ономясь, как поносили тебя, боярыня, кляли, зазорили того, кто послушает твоих наветов, и обещались вымести телом приспешника твоего Софийскую площадь, если он только покажется на ней.

– «Слова без дела, что лук без стрелы!» – ваше же русское присловье! – обиделся Зверженовский. – Таковы новгородцы; а как услышат, что земляки мои наготове напасть на москвитян – заговорят другое. Они как рыбы – в худую погоду ищут глубины, а в ясную любят поиграть на солнце.

– Надобно непременно пустить слух, что Казимир стоит за нас и рать его уже выступила против москвитян, – поспешно сказала Марфа.

– Да их, вашу братию, новгородский народ не стал терпеть за обманы и называет челядинцами, голой Литвой, блудливыми кошками и трусливыми зайцами! – заметил один из старцев.

– Небось, на нашей стороне еще много людей, а золото, ласковые слова и обещания перетянут хоть кого. Завтра попробуем счастья новыми посулами, подмажем колеса, и все пойдет ходче, – с веселым, беззаботным смехом произнес Зверженовский.

Слуги в это время внесли и поставили на столы яства и пития, и между долгими разговорами и совещаниями началась попойка. Болеслав Зверженовский, съев конец сладкого пирога и оросив его крепким русским медом, воскликнул первый:

– Многолетие тебе, Марфа Борецкая, нынешняя боярыня и будущая княгиня новгородская.

– Многолетие, многолетие! – подхватили все, и гордая вдова, встав, начала раскланиваться во все стороны.

Вдруг ударил колокол, другой, и благовест разлился по всему городу.

Все встрепенулись, как вороны, почуя кровь, думая, что это призыв к бунту и убийствам, но вскоре опомнились, и тысяцкий Есипов сказал:

– Чу... утренья... пора и по домам...

– Нас давеча изумил еще дальний колокол в самую полночь, так завыл, что мы, шедши к тебе, боярыня, индо пригнулись к земле, – вставил один из гостей.

– Да, сильна непогода, на Софийском храме, говорят, бурей крест сломило, – добавил другой.

– Ахти! – воскликнул третий. – Это, братцы, помяните мое слово, не к добру.

– Ты бы сидел между баб и точил им веретена, когда, ничего не видя, начинаешь трястись как осиновый лист, – оборвал его Зверженовский.

– Горожане! братия! – начала снова Марфа. – Время наступает, отныне я забываю, что я родилась женщиной; прочь эти волосы, чтобы они не напоминали мне этого; голова моя просит шлема, а рука меча; окуйте тело мое доспехами ратными, и, если я хоть малость отступлю от клятв моих, – залейте меня живую волнами реки Волхова, я не стою земли.

– И мы, и мы тоже! – подхватили все.

– Завтра поступим по общему условию. Утро вечера мудренее, – говорили между собою, расходясь, гости.

– Каково-то завтра проглянет день? Что-то темно, уж не суждены ли нам вечные сумерки, – думали робкие, и скоро чудный дом Марфы опустел и замолк, как могила.

На одном конце стола, покрытого длинною полостью сукна, стоял ночник, огонь трепетно разливал тусклый свет свой по обширной гриднице; на другом конце его сидела Марфа в глубокой задумчивости, облокотясь на стол. Ее грудь высоко подымалась, ненависть, злоба, сожаление о сыновьях сверкали в ее глазах.

– Итак, отныне я не женщина! – воскликнула она. – Прочь же эти уборы!

Она сорвала с головы своей покрывало, и две длинные косы, иссиня-черные, как вороново крыло, расплелись и скатились волнами на ее могучие плечи.

Когда волнение ее несколько улеглось, ей представился отец Зосима с кротким и вместе укоряющим взглядом. От сердца ее отлегло, на душе стало светлее, и слеза умиления скатилась из ее глаз.

Она вздохнула было с облегчением, но вдруг ее взор упал на лезвие сабли, забытой Болеславом Зверженовским.

Вид этой сабли снова напомнил ей все.

Она схватила косу и мгновенно обрезала ее.

«Свершилось!» – произнеслось в ее голове.

V

Новгородская бывальщина

Багровая заря взошла на небо и бросила свой красноватый отблеск на землю. Настало раннее утро. Погода была переменчива. Порою ветер разгонял облака и показывалось солнышко, то опять оно заволакивалось тучами, черным саваном висевшими над Новгородом.

Снова, как и вчера, ударили в вечевой колокол со двора Ярославлева, и пронзительный звук его разлился по окрестностям. Народ, только что успокоенный накануне Феофилом, не знал как и разгадать причины нового призыва на общественный совет. Улицы заволновались, и ропотный шум толпы все усиливался и усиливался на Софийской площади.

Около самых ворот веча, осажденных со всех сторон народом, стоял старик с длинной седой, как серебро, бородою, в меховой шапке с куньей оторочкой и длинными подвязными наушниками; зипун на нем был серый, на овчинном подбое; в руках держал он толстую суковатую палку, с широким литым набалдашником из меди. Хотя морщины складками облегли его лицо, но глаза из-под седых нависших бровей горели огнем юности, особенно когда он, рассказывая про былую старину окружавшим его любопытным, приправлял свой рассказ разными прибаутками, присказками и присловьями и, переносясь за много лет назад, подражал молодецким движениям.

– И что за времена настали нонеча! – говорил он. – Чуть враг за лесом – и поникнут головами так низко, что шапка валится. Со страха, вестимо, искра кажется больше полымя. Износил я на плечах своих десятков семь с золотником годов, и научился видеть, что черно, что бело. Бывало, кто не слышал, кто те видал Новгорода Великого далеко? «Это город, то-то привольный, то-то могучий!» – говаривали и немчины, и литвины, и все иноземные людины: ганзейцы и мурмане, гречины и татары, бывшие в нем не как враги, а как гости, – любили они заглядываться на золоченые главы церквей его, разгуливать по широким улицам и любоваться на площадях и в балаганах всеми товарами заморскими! Тут были раскиданы и меха пермские, и полотна фламандские, и ковры персидские, и соболи сибирские, и камки хрущатые, и бахромы золотошелковые, и всякие снадобья хитротканые, и седла азиатские, и камни самоцветные, и жемчуги бурмицкие, и уздечки подборные, и всякие узорья выписные. Всего грудями навалено было перед чужеземными зеваками – отдай деньги и бери добра сколько хочешь, сколько можешь.

В мирное время задает всякий пир на весь мир! Отъедайся, отливайся душа, ходи стена на стену, али заломы на бок шапку отороченную, крути ус богатырский, да заглядывайся на красоточек в окошечки косячатые; затронул ли опять кто, отвечай огнем, да копьем, да стрелами калеными; прослышал ли про караван ливонский, али чей-либо ненашенский – удалцы новгородские разом оскачат его, подстерегут и накинута с быстротой соколиною раскупоривать копиями добро, зашитое в кожи, а меж тем косят часто головы провожатых, как маковинки. Бывало, одурь возьмет, как давно нет дела рукам; ну что, сиди на печи, да гложи кирпичи – разучишься и шевельнуть мечом; ждешь не дождешься, когда-то грохнет вечевой колокол, а уж как закатится, любо сердцу молодецкому, вспрыснет его словно живую водою радость удалая. Уж так забьется, так заскачет ретивое, как конь необъезженный в чистом поле, того и гляди, что выскочит в пригоршню. А бились мы с Чудью и Ямью со своими, и с чужими, и морем, и сухим путем, и Нарвою, и Волгою, и по Новоозеру несло наше ополчение на несчетных судах. На кого наскочили, тот разведывайся; куда пришли, там и дома. В Кострому ли, в Тверь ли, в Ярославль ли, под Астрахань ли богатую, рады не рады – принимайте гостей, выносите калачи на золотых блюдах, на серебряных подблюдниках, выкатывайте бочки медов годовалых и чокайтесь с нами, незванными гостями; а если хозяева попросят расплаты, рассчитывайся мечами, да бердышами, да бери с них сдачи ушами, да головами, а там снимайся, удалая дру-

жина, и мчись восвояси. А где аховой народец, как примером сказать бы в ближних пригородах ливонских, да еще где застанешь его не врасплох и выступят против тебя хозяева-то в железных обручах, да начнут пересыпаться с гостями своим свинцовым горохом, затепливай скорее его лачугу со всех четырех сторон и тут-то вот и привольно будет погреться: шум, гам, гик, вопль, стены трещат, рушатся, растопленное железо рекой течет, а люд словно воск тает. Натешилась душа, и заливай пожарище вражеской кровью, ведь как булат разогреется, от него пар валом валит, острие притупится хлестать по телам, да по костям, а еще хочется. Ведь это не то, чтобы мы напраслино напали на соседей, и они при случае не спустят. Обоз ли отбить у наших, девушек ли захватить, золота ли без счета пограбить, да передушить стариков и малых детей – это им обычно; да не удавалось проклятым в частую, как нам приходилось, напрашиваться не в любые для них гости. А как опять мировая, так и мы, бывало, придерживаемся присловью: «В поле враги, дома гость, садись под святые⁴ починай ендову; в лесу – кистенем, а в саду – огурцом». И ведется речь любезно, и ходим об руку попарно, и любят не насмотрятся наши гости, как красуется град наш, а в нем рдеют девицы красные, да разгуливают молодцы удалые, и бросаются им в глаза всякие диковинки редкие, и стали звать, прозывать его давно-предавно, чуть прадеды помнят, и чужие, и свои, славным богатырем, Великим Новгородом.

Взоры слушателей, впившиеся в рассказчика, сверкнули огневой отвагой, а старик, откашлянувшись, продолжал:

– И ноне придерживаются этого старики, да не обеими руками, с тех пор, как Иоанн московский залил наши поляны родною кровью. Все как-то пошло на разлад: старики шатаются от старости, молодые трясутся от страха, а родина гибнет. Молодечество⁵ иные стали считать делом зазорным, а по силе грамот отнимать – это им нипочем. Укажите-ка мне, кто теперь поспорит, постоит и словом, и делом, языком и плечом за отчизну. Разве один Чурчила с своими удалцами! Если бы опомнясь не отшатнулся бы он добывать добра в Ливонию, в замок Гельмст, попятил бы московскую дружину так, что некому было бы и до Москвы добежать.

– Краснобай ты, старинушка, но кривы уста твои: нас-то по что избидел ты? Чем мы не молодцы? Загуди только труба воинская, все побратаемся скинуть головы свои или вражеская, выменять на красную жизнь, на славную смерть! – воскликнули окружавшие старика.

– Все красно, ребятушки, да не так как солнце! – возразил он. – Прежде, бывало, московские князья засылали к нам гонцов и велеречиво просили через них подмоги. Дмитрий Иоаннович не знал как чествовать нас, когда на Куликовом поле четыредесять тысяч новгородцев отстаивали Русь против поганой татарвы, хоть после и озлобился на нас, что мы в яви и без всякого отчета стали придерживать своего самосуда, да делать нечего, из Москвы-то стало пепелище, так выжгли ее татары, что хоть шаром покати, ни за что не зацепиться; кой-где только торчали верхи, да столбы, да стены обгорелые. Видно, понадобилось ему золото новгородское – подступил. Мы не прочь, выбирай любое: деньги, али битву. Взял первое, да и пошел обстраиваться, а к нам-то татары никогда и ноги не заносили неприязненно. Соберем дань, пошлем в Москву – и разделявайся ею московский князь с ордою, как рассудит. Нынешний-то лих что-то, а то, бывало, указывали мы путь обратный и московской, и литовской дружинам; вольница-то новгородская не очень робела и тех и других. Как послышим, поднимается на нас враг – и в ус не дуем; новгородец накинёт шапку на одно ухо, подопрется и ходит козырем: по нему хоть трава не расти, готов и на хана и на пана! Вам грозят, а на вече голосят: не спугнешь ножами, когда ножа не боимся. Впервые, что ли, нам слушать угрозы московские? Кассы наши полны, закрома тоже, да и железное снадобье отпущено. Что нам? Мы своих боярей имеем, нам свои грамоты оставлены Ярославом Великим, ссылаемся на них, да на крепкие головы земляков своих – и с нами Бог, умрем за святую Софию.

⁴ В передний угол.

⁵ Разбой.

– И вестимо! – подхватили слушатели. – Московский князь нас не поит, не кормит, а нас же обирает: что ж нам менять головы на шапки. Званых гостей мы примем, а незваных проводим. Умрем за святую Софию!

VI Чурчило

Гулко раскатились эти крики по площади и послужили как бы призывом для рослого и плечистого молодца. Он не вбежал, а скорее влетел в толпу.

Невысокая бархатная голубая шапка с золотым позументом по швам, с собольим околышем и серебряною кисточкой на тулье, была заломлена набок; короткий суконный кафтан с перетяжками, стянутый алым кушаком, и лосиная исподница виднелись на нем через широкий охабень, накиннутый на богатырские плечи; белые голицы с выпушкой и кисой с костяною ручкою мотались у него на стальной цепочке с левого бока; черные быстрые глаза, несколько смуглое, но приятное открытое лицо, чуть оттененное нежным пухом бороды, стройный стан, легкая и смелая походка и приподнятая несколько кверху голова придавали ему мужественный и красивый вид.

– Чурчило! Чурчило! Отколе тебя Бог принес? Легок на помине!.. Ну, что, как живешь-можешь? – раздавались радостные приветствия в толпе.

– Да, живется, братцы, как живется, а можетя, как можется! – отвечал душа новгородских охотников⁶, снимая шапку и раскланиваясь во все стороны.

– Где побывал, добрый молодец, что последним поспел на совет наш? – спросил его старик-рассказчик.

– Земляки знают меня, – отвечал Чурчило, – на схватке я бываю не последним, а думу раздумывать, сознаюсь прямо, не моего ума дело, да и о чем?

– Знаю тебя, отъемная голова! – заметил старик. – В кого ты уродился, – дедовский в тебе нор. Таков был и Абакунов при Дмитрие Иоанновиче, предводитель вольной шайки новгородской; он тоже всегда молчал, но зато красно и убедительно говорил его мечь-кладенец.

– Таперича надо и раздумать, – вставил один видный парень из толпы. – Скажи, Чурчило, на какую сторону более склоняется твое ретивое?

– Вестимо, к родине лежит, – твердо ответил он, – и за нее куда придется, в огонь или в воду, в гору или пропасть, за кем бежать или кого встречать – я всюду готов.

– А мы с тобой! – воскликнули окружающие. – Хватайся, ребята, за палку, кинем жребий, кому достанется быть его подручным...

– Постойте, не спешите, наша речь впереди, – остановил их старик и, обратившись к Чурчило, расправил свою бороду и сказал с ударением: – Ты, правая рука новгородской дружины, смекни-ка, сколько соберется на твой клич, можно ли рискнуть так, что была не была? Понимаешь ты меня – к добру ли будет?

Чурчило молчал.

Старик пристально посмотрел на него и добавил:

– Ведомо ли тебе, что весть залетела недобрая в нашу сторону. Московская гроза, вишь, хочет разразиться над нами мечами и стрелами, достанется и на наш пай.

– Так вы об этом так разболтали языком вечевого колокола? – вместо ответа, с презрительным равнодушием спросил Чурчило. – Я ходил в Чортову лощину, ломался там с медведем, захотелось к зиме новую шубу на плечи, али полость к пошевням, так мне не досужно было разбирать да прислушиваться, о чем перекоряются между собой степенные посадники.

– Подай, вишь, Москве на огнеметы⁷ перелить наш колокол, да на сожжение законные грамоты наши, а после...

⁶ Охотниками прозывали молодец, промышлявших набегами на соседние земли.

⁷ Пушки.

– Широко шагают! – вспыхнул Чурчило, прервав старика. – Не видали мы их брата-супостата. Что нам вече – тенистое болото, в котором квакают лягушки что им вздумается. За пригоршню золота, да за десяток ядер отступятся от прав своих. Так что же вы, братцы, не рассудите до сих пор? – окинул он всех быстрым огненным ответным взглядом. – Мы-то что ж? Пусть их звонят и колоколом и языками... Нам-то любо. Слышь, трезвонят. Вот так, качай во всю и припляснуть можно!.. Что уж давно не звонили?.. А свыклись мы с этим раздольным голосом: так и подступает к сердцу смертная охота рвануться на целую ватагу, – а то ведь и мертвым стало не в чем позавидовать живым. Облежались мы до пролежней без всякого дела... Давайте же руки, братцы, жмите крепче, до слез. Пусть бояре хитроумничают, а мы затеем свое дело... Кто за мной?

– Мы все за тобой, удалой молодец! – закричал народ. – Пойдем меч острить.

Толпа с воинственным криком кинулась вслед за Чурчилою, почти бежавшим по площади.

– Прямой сокол, – заметил, глядя ему вслед, старик, – ретивое у него доброе, горячо предан родине... Кабы в стадо его не мешались бы козлы да овцы паршивые, да кабы не щипала его молодецкое сердце зазнобушка, – он бы и сатану добыл, он бы и ему перехватил горло могучей рукой так же легко, как сдернул бы с нее широкую варежку.

VII Вече

На вече между тем в обширной четырехугольной хранине, за невысоким длинным столом, покрытым парчовой скатертью с золотыми кистями и бахромой, сидели: князь Шуйский-Гребенка, тысяцкий, посадник и бояре, а за другим – гости, житые и прожитые люди.

На столах были накинаны развернутые столбцы законов, договорных и разных крестоцеловальных грамот. Не всех желающих видеть это собрание, слышать совещание допускали внутрь веча, так как там уже и без того было тесно.

Два копейщика с секирами в руках охраняли двери, около которых на дворе и на площади, как мы уже видели, толпилось громадное количество народа.

Князь Василий Шуйский-Гребенка с тысяцким Есиповым, в бархатных кафтанах с серебряными застежками, сидели на почетном месте в середине стола; возле них по обе стороны помещались посадники Фома, Кирилл и другие.

Марфа, важно раскинувшись по скамье с задком, в дорогом кокошнике, горящем алмазами и другими драгоценными камнями, в штофном струистом сарафане, в богатых запястьях и в длинных жемчужных серьгах, с головою полуприкрытою шелковым с золотой оторочкой покрывалом, сидела по правую сторону между бояр; рядом с нею помещалась Наталья Иванова, в парчовом повойнике, тоже украшенном самоцветными камнями, в покрывале, шитом золотом по червчатому атласу, и в сарафане, опушенном голубою камкой. Сзади них стоял Болеслав Зверженовский, в темно-гвоздичном полукафтани, обложенном серебряной битью.

Вокруг них толпился народ, успевший проникнуть в хранину.

Подьячий Родька Косой, как кликали его бояре, чинно стоял в углу первого стола и по мере надобности раскапывал столбцы и, сыскав нужное, прочитывал вслух всему собранию написанное. Давно уже шел спор о «черной, или народной, дани». Миром положено было собрать двойную и умилостивить ею великого князя. Такого мнения было большинство голосов.

Возражать встала Марфа Борецкая.

– Честные бояре и посадники! – сказала она. – Думаете ли вы этим или другим, даже кровью наших граждан, залить ярость ненасытного? Ему хочется самосуда, и этой беды руками не разведешь, особенно невооруженными.

– Этого мы и в уме не хотим держать! – прервал ее Василий Шуйский, ее личный враг, но и верный сын своей родины. – Разве его меч не налегал уже на наши стены и тела? Я подаю свой голос против этого, так как служу отечеству.

– Он не служит, а подслуживает! – шепнул Марфе Зверженовский.

Последнюю обдало, как варом, это несогласие с нею Шуйского.

– Князь, – воскликнула та, сверкнув глазами, – к чему же и на что употребляешь ты свое мужество и ум? Враг не за плечами, а за горами, а ты уже помышляешь о подданстве.

Князь Василий в свою очередь распалился гневом, заметя ее сношение с Зверженовским.

– Мы верили тебе, боярыня, да проверились, – заговорил он. – И тогда литвины сидели на вече чурбанами и делали один раздор! Я сам готов отрубить себе руку, если она довременно подпишет мир с Иоанном и в чем-либо уронит честь Новгорода, но теперь нам грозит явная гибель... Коли хочешь, наткайся на меч сама и с своими клеветами.

– Но и самосуда мы не потерпим! Сколько веков славился Новгород могуществом своим, и каким же ярким пятном позора заклеим его и себя, когда без битвы уступим чужестранным пришельцам те места, где почивают тела новгородских заступников и где положены головы праотцев наших! – важно сказал тысяцкий Есипов.

– Боже оборони и слышать об этом! – воскликнул Шуйский. – Первая рука, которая протянется за нашей хранительной грамотой, оставит на ней пальцы. Но зачем же самим заводить ссору?

– Да исчезнет враг! – раздались возгласы посадников и народа.

– Родька, – сказал тысяцкий, обращаясь к подьячему, – прочти-ка еще порасстановистее запись великого князя.

И Родька громким голосом прочел еще раз.

Все снова ужаснулись, и даже самые мирные граждане, расположенные к великому князю, повесили головы.

– Ишь, требует веча! Самого двора Ярославлева. Мы и так терпели его самовластие, а то отдать ему эти святилища прав наших. Это значит торжественно отречься от них! Новгород судится своим судом. Наш Ярославль Великий заповедывал хранить его!.. Мечь Божия над нами, если мы этого не исполним! Московские триуны будут кичиться на наших местах и порешат дела и властвовать над нами! Мы провидели это; все слуги – рабы московского князя – недруги нам. Кто за него, мы на того!

– Проклятие, проклятие двоедушным косноязычникам Назарию и Захарию. И когда мы обсылались через них с московским князем? Это голая ложь! Анафемы! Сам владыко произнес это.

– Да что владыко? Он за князя подает голос, стало быть, супротив нас!

Таковы были разнообразные возгласы народа, подстрекаемого Марфой и ее сообщниками.

Лишь немногие члены веча задумчиво молчали.

Начавшийся нестройный шум голосов вызвал владыку Феофила, который, пробравшись сквозь почтительно расступившуюся перед ним толпу, воскликнул:

– Необузданные мятежники! Зачем же вызвали вы меня из моей смиренной кельи на позорище мятежа? Нет вам моего благословения; делайте что хотите. Горе вам, непослушные! На начинающих – Бог!

Голос его был заглушен дикими криками, и он быстро удалился, всплеснув руками.

– Суетная земля! – был его заключительный возглас.

Тогда воспрянула Марфа. Шуйского она не так опасалась, как Феофила, но заметив и к последнему холодность народа и победу своих широкогорлых соумышленников, она громко и оживленно заговорила:

– Настало время управиться с Иоанном! Он не государь, а лиходея наш. Великий Новгород сам себе властелин, а не отчизна его. Казимир польский возьмет нашу сторону и не даст нас в обиду, митрополит же киевский, а не московский, даст архиепископа святой Софии, верного за нас богомольца.

Эти слова вызвали у толпы восторженные клики одобрения, почин которым дали, конечно, клеветы Марфы Посадницы.

VIII Бунт

Между людьми, не принимавшими сторону бунтовщиков, находились: знатный муж Василий Никифоров, боярин Захарий Овин, брат его Кузьма Овин и несколько других, лично доброжелательствующих Иоанну и ценивших его за ум и энергию. Они держали его сторону, и Василий Никифоров обратился к народу:

– Братия, вразумитесь, что вы замышляете? Изменить Руси и православию, поддаться иноплеменному королю, просить себе от еретика латышского святителя и этим накликать на себя и гнев Божий, и правосудный меч государев? Вспомните, предки наши, славяне, вызвали из земли варяжской Рюрика, он княжил мудро и славно, что видно из преданий, а кровные потомки его более шести веков законно властвовали над Новгородом. Истинною же и православною верою обязаны мы святому Владимиру, а от него прямо происходит и Иоанн, латыши же всегда были нам неверны и ненавистны. Рассудите: к кому же более должны мы обращаться сердобольно и молить о милостях?

Увидя, что эти слова Василия Никифорова, шедшие прямо из сердца, и крупные слезы, катившиеся на его седую бороду, начали трогать слушателей, Марфа, поддерживаемая своими, воскликнула:

– Ты, злой кудесник, давно съякшался с Ивашкой на погибель своих соотечественников и хитро точишь свои медовые речи, чтобы заманить и нас в свои сети. Исчезни, коварный старик! Да обратится на тебя все зло, которое ты готовишь нам.

– Да оглушит тебя гром Божий, жена дьявола! – громко заговорил было Василий Никифоров, но сам был оглушен восклицаниями.

– Не хотим Иоанна, да здравствует Казимир! Да исчезнет Москва!

Небольшая кучка защитников Иоанна отвечала криками:

– Не хотим Казимира! Да здравствует Иоанн!

Марфа, выйдя с клеветами своими из храмины на Ярославлев двор, распорядилась рассыпать народу несколько четвериков пуль⁸, раздать по оловяннику⁹ меду на брата и подала знак, по которому туча камней полетела на ее слушников. Иные, сраженные, попадали, другие разбежались, а крики толпы становились все громче.

– Хотим за короля, меч на Иоанна!

– Хотим к Москве православной, к Иоанну и отцу его Терентию!¹⁰ – прокричал на Софийской площади Василий Никифоров, насилу выбравшийся на нее, прочистив себе путь мечом, но голос его остался без отголоска.

Явилась щедрая Марфа со своей челядью и обратилась к народу:

– Если вы, мужья, к великому позору Великого Новгорода, отрекаетесь биться с москвитянами, то ступайте сторожить и прятать имущество свое от разбойничьей шайки Иоанновой; а мы, жены, пойдем на бойницы и будем защищать вас, робких мужей!

Народ или, вернее сказать, толпа бунтовщиков, возбужденная хмелем, стыдом, жаждой мщения, остервенилась.

– Повели, боярыня, на кого нам? Что начать?.. Вольные новгородцы не посрамят себя!..

– Казнь изменникам! Они соглядатаи и предатели отечества! – воскликнула Марфа, указывая на Василия Никифорова.

⁸ Новгородское тесто того времени.

⁹ Оловянная кружка.

¹⁰ Митрополит московский, бывший после святого Филиппа.

Вмиг неистовая толпа ринулась на него, вцепилась десятками рук и потащила снова на вече, нанося чем попало ему удары.

– За что и куда тащите вы меня так позорно, как татя? – слабым голосом говорил мученик.

– Ты соглядатай, ты предатель, ты изменник, ты Иуда! – кричала толпа.

– Нет, видит Бог, я прав; кровь моя останется на вас и когда-нибудь сожжет ваши души, совесть заложет вас, богопротивники, и тебя, гнусная жена-змея!.. Я клялся Иоанну в доброжелательстве, но без измены моему истинному государю, Великому Новгороду, без измены вам, моим брат... .

Он не успел окончить. Убийственный топор звякнул, и голова его отскочила от туловища и покатила по песку, чертя по нему кровавые следы. Некоторые дрогнули, другие же, остервенясь еще более, продолжали волочить по площади обезглавленное тело, схватили Захария Овина, брата его Кузьму и убили их обухом топора.

Оба умерли почти не вскрикнув.

Началась дикая расправа над телами: толпа тешилась, рубя их на куски, и любовалась зрелищем, как эти окровавленные куски прыгали под саблями и топорами.

Бросились расхищать балаганы и лавки на Славковой улице. На дворе архиепископском тоже грабили и сажали в застенки¹¹ подозрительных людей, которых тут же без допроса и суда убивали.

Усталые от кровавой работы, подходили эти люди-звери к выставленным для них догадливой Марфой чанам с брагой, медом и вином; кто успевал – черпал из них розданными ковшами, а у кого последние были вышиблены в общей сумятице, те черпали окровавленными пригоршнями и пили это адское питье, состоявшее из польской браги и русской крови.

Шум, ропот, визг, вопли убиваемых, заздравные окрики, гик, смех и стон умирающих – все слилось вместе в одну страшную какофонию.

Ничком и навзничь лежавшие тела убитых, поднятые булавы и секиры на новые жертвы, толпа обезумевших палачей, мчавшихся кто без шапки, кто нараспашку, с засученными рукавами, обрызганными кровью руками, которая капала с них, – все это представляло поразительную картину.

– Ты что ж, сокол, стоишь без дела и не бьешь изменников? Али и тебе крылья перешибли? – спросил знакомый уже нам старик-балагур, столкнувшись нечаянно с Чурчилой, томно и задумчиво смотревшим на ужасную картину побоища.

– Я люблю биться, а не бить! – ответил ему мрачно тот и, отвернувшись, быстро пошел в другую сторону.

– Постой, я понимаю тебя, молодец! Помаракуем-ка вместе. Мы не этого ждали, – сказал старик, догоняя его.

Побоище продолжалось. Иной дрался поневоле. Быть безучастным зрителем было небезопасно, могли как раз принять за изменника. Не скоро руки палачей устали наносить удары, наступивший вечер не разогнал их. Кто-то догадался посветить им: зажгли дома убитых, и страшное пламя, откидывая на небо багровое зарево и наводя грозные тени на двигавшихся во мраке убийц, придавало этой картине вид еще ужаснее, еще поразительнее.

– Вот так в случае и весь город запалим! Пусть москвитяне поживятся головнями нашими вместо золота! – раздавались со всех сторон возгласы.

Марфа Борецкая со своей шайкой была на площади до позднего вечера, тайно прислушиваясь к все еще продолжавшимся крикам и стонам, результатам ее адской работы.

Все они то и дело натывались на мертвые тела.

Болеслав Зверженковский, шедший рядом с Марфой, чуть было не упал, споткнувшись обо что-то круглое.

¹¹ Тюрьма.

Он нагнулся и поднял за волосы голову.

Блеснувшее зарево осветило ее – это оказалась голова Василия Никифорова.

– Вот он, враг-то наш, на нас теперь не ослабляется, – со смехом произнес он, поднося ее Борецкой.

Она взглянула. В закатившихся полуоткрытых глазах мертвой головы она, почудилось ей, прочитала страшный упрек. Дрожь пробежала по всему ее телу. На лбу выступил холодный пот.

– Пора, давно уже ночь, – робко промолвила она, как бы пораженная нависшим над ней мраком, и быстро пошла по направлению к своему дому.

Взгляд мертвых глаз, казалось, преследовал и подгонял ее.

IX В келье Феофила

Неистовства толпы еще продолжались несколько дней.

Вольный народ, то есть чернь новгородская, перед которой трепетали бояре и посадские, бесчинствовала, пила мертвую, звонила в колокола и рыскала по улицам, отыскивая мнимых слуг и советников Иоанновых и расхищая у слабых последнее достояние. Дрались насмерть и между собою из-за добычи.

Новгородские сановники, принимавшие вначале сами участие в бунте, опомнились первые, хотя и у них в головах не прошло еще страшное похмелье ими же устроенного кровавого пира. Их озарила роковая мысль, что если теперь их застанут врасплох какие бы то ни было враги, то, не обнажая меча, перевяжут всех упившихся и овладеют городом, как своею собственностью, несмотря на то, что новгородская пословица гласит: «Новгородец хотя и пьян, а все на ногах держится».

Многие держались уже только на руках.

Задумались люди сановитые, стали собираться каждый день на вече, почесывали затылки, теребили свои бороды и наконец решили – бить челом владыке Феофилу, чтобы он благословил принять на себя труд голосом духовного слова не только успокоить неистовую толпу, но и запретить народу, под страхом проклятия, отлучения от церкви, гнева Божия и наказания, буйствовать и разбойничать.

Жребий вести речь владыке выпал на степенного посадника Фому, прочие же бояре и посадники решили сопровождать его. Не теряя времени, отправились они пешком в смиренную келью архиепископа. Не доходя еще до двери его, они обнажили головы, а войдя в нее, Фома отделился от них, пошел вперед и обратился с просьбой к привратнику, чтобы он сказал келейнику, что бояре и посадники и все сановитые люди новгородские просят его доложить владыке, не дозволит ли он предстать им пред лицо свое и молить его скорбно и слезно об отпущении многочисленных грехов их перед ним.

Через несколько времени архиепископ Феофил вышел сам на крыльцо и строго обратился к ним:

– Да рассыпятся племена нечестивые, алчущие брани, и будут поражены молнией небесною и, яко псы голодные, лижут землю языками своими! Чего еще хотите вы от меня?

– Благодушный пастырь наш! – отвечал за всех Фома, преклоняя колено. – Человек рожден со страстями. Молим тебя, праведный, обрати гнев на милость, спаси Великий Новгород – он гибнет.

Слезы брызнули из его глаз и он, окончив свою речь, низко опустил свою голову.

– Безумные, вы сами хотели этого... Спасение града нашего в руке Божией. Покайтесь. Я могу только умиловать Его, соединяя свои молитвы с вашими, – заметил тронутый Феофил.

– Этого и жаждем мы, владыко святой. Воззри на раскаивающихся, благослови начинание наше и помоги нам, – молящим тоном произнес Фома.

– Дети мои, – заговорил архиепископ тихим, ласковым голосом после некоторой паузы, обведя всех стоявших перед ним пронизательным взглядом, – знаю, что дух и плоть – враги между собою. Тесно добродетели уживаться в сем мире срочном, мире испытания, зато просторно будет в будущем, безграничном. Не ропщите же, смиритесь: претерпевший до конца спасен будет – глаголет Господь. Но вы сами возмущаете, богопротивники, братьев своих и на долго ли раскаиваетесь?

Пристыженные сановники молчали.

Он продолжал:

– Думаете ли вы, что я не сочувствую вам в общей горести и гибели отечества? Разве запамятовали вы мои услуги ради его? Не я ли выкланял у московского князя гибнувшие права наши и настоял: быть Новгороду Великим? Вы сами положили начало той язвы, которой теперь страждете. Сколько раз я внушал вам благие мысли: смиритесь – все дастся вам, и успехом увенчаются дела ваши, а вы как исполняли слова мои, как угождали святой Софии? Разве так подобает защищать ее – распрями и убийствами? Я сделал все, что возлагает на меня сан мой, рвение и любовь к отчизне. И мое сердце кипит любовью к ней под черною рясою, но я сомневаюсь в вас, в вашем послушании.

– Будем послушны вовеки! – воскликнули в один голос присутствующие и преклонили свои головы.

Архиепископ осенил их крестным знамением и пригласил к себе для совещания.

Вечевой колокол все еще заливался, кровь лилась на площадях.

В одном месте черпали вино из полуразбитых бочек шапками, в другом рвали куски парчей, дорогих тканей, штофов, сукна и прочих награбленных товаров, как вдруг с архиепископского двора показался крестный ход, шедший прямо навстречу бунтовщикам; клир певчих шел впереди и пел трогательно и умильно: «Спаси, Господи, люди Твоя». Владыко Феофил, посреди их, окруженный сонмом бояр и посадников, шел тихо, величественно, под развевающимися хоругвями, обратив горе свои молящие взоры и воздев руки к небу.

Пораженные как громом, бунтовщики окаменели и остались неподвижно в тех позах, в которых застало их это чудное видение.

Руки, державшие добычу, замерли на минуту, затем поднялись для молитвы, шапки покапались с голов, но толпа не смела поднять глаз и, ошеломленная стыдом, пошатнулась и пала на колени, как один человек.

Архиепископ, молча, не взглянув на народ, не удостоив его благословения и не допустив приложиться к Животворящему Кресту, прошел к соборному храму Святой Софии, помолился у золотых врат¹² его.

После краткой молитвы у этих врат процессия тронулась к городским стенам.

¹² Так называются медные, вызолоченные ворота, по народному преданию, вывезенные из Корсуни или Херсонеса, – они находятся на западной стороне церкви, – знаменитая древняя редкость, сохранившаяся до последних дней.

Х

Ответ великому князю

Прошло еще несколько дней.

Софийская площадь очистилась. Мертвые тела поклади на носилки и похоронили по христианскому обряду за городским валом, колокола замолкли, и вече стало представлять собою простую мирскую сходку.

На первом месте в храме заседал архиепископ, подле него тысяцкий Есипов, князь Василий Шуйский, посадники Фома, Кирилл и другие. Марфа же с Натальей Ивановой уехали посетить свои села, находившиеся близ Соловецкой обители.

Великокняжеского посла, боярина Федора Давыдовича, жившего на Городище с многочисленной дружиной, чествовали как подобает, ни чем не обижали, только не допускали на вече и решились отпустить к великому князю с записью от имени веча Новгородского.

– Люди новгородские! – сказал Феофил. – Я написал ответную грамоту в Москву, останетесь ли вы довольны ею.

Подьячий Родька Косой начал громко читать ее, поглаживая свою бороду:

Отъ Веча Великого Новгорода к Великому Князю Московскому и проч. ответственная грамота!

«Кланяемся тебе, Господину нашему, Князю Великому, а государем не зовем. Суд твоим наместникам оставляем на стороне, на Городище, и по прежним известным тебе условиям; дозволяем им править делами нашими, вместе с нашими посадниками и боярами, но твоего суда полного и тиунов твоих не допускаем и дворища Ярославлева тебе на даем; хотим же жить с тобою, Господином, хлебосольно, согласно, любезно, по договору, утвержденному с обеих сторон по Коростыне, в недавнем времени.

Кто же тебе предлагает быть государем нашим, Великого Новгорода, тех самих ведаешь, и то, как подобает наказывать за криводушие. Мы здесь также управились с своими предателями, и ты не взыскивай с нас за самосуд, данный нам предком твоим, Ярославом Великим, каковым мы нынче и воспользовались, сиречь, в силу одного дозволения, не преступая нашей к тебе чтимости и покорности.

Молим и зываем к тебе, Господин, всеусердно и всеуниженно: держи по старине, по крестному целованию, и мы всегда будем верными слугами и тебе, и отчизне твоей Великому Новгороду». Руки приложили: владыка Великого Новгорода, архиепископ Феофил, тысяцкий Ксенофонт Есипов, новоизбранный дьяк Тит, по реклу: Останов, и проч.

– А если Иоанну не любо будет наше послание, – заметил князь Шуйский, – чего должны ожидать тогда?

– Битвы, – почти в один голос отвечали Есипов, Фома, Кирилл и другие.

Архиепископ задумчиво молчал. Он чувствовал, что не уговорить ему своих сограждан к безусловному подданству, да и самому тяжело было решать все лишь в пользу Иоанна.

– Но в силах ли мы бороться с ним? – понизив до шепота голос, промолвил дьяк Ксенофонт.

Никто не отвечал.

– А уж когда он одолеет нас, – прибавил он, – много резни будет, досыта натешится меч его кровью новгородскою. Надобно чем-нибудь отвратить эту грозу великую, черную.

– Красную, кровавую и непреодолимую, – продолжал его мысль посадник Фома. – На нас она покатится, над нами и разразится! Тогда я первый не скрываю своего намерения поддаться Литве.

Молодой парень, слушавший с прочим людом мнения бояр, стоял в углу храмины и давно уже с досады кусал губы и рвал оторочку своей шапки.

Последние слова о подданстве Литве, произнесенные Фомою, заставили его вздрогнуть. Он сбросил с себя охабень и быстро вышел вперед, окинул всех присутствующих орлиным взглядом своих глаз, сверкающих и блестящих, как полированный лист.

– Владыко святой, – начал он взволнованным голосом, – и вы все, разумные, советные мужи новгородские, надежда, опора наша, ужели вы хотите опять пустить этих хищных литвинов в недра нашей отчизны? Скажите же, кто защитит ее теперь от них, или от самих вас? Разве они не обнажали уже не раз перед вами черноту души своей, и разве руки наши слабы держать меч за себя, чтобы допускать еще завязнуть в этом деле лапам хитрых прищельцев?

– Мальчик, – возразил ему Фома с заметным неудовольствием, – что же ты нашел противного в литвинах, что у них волчьи зубы, или лисьи хвосты?

– И то, и другое, чтимый муж, если хочешь, чтобы мальчик вразумил твои седины! – отвечал ему гордо молодец.

– Чурчило, ты забываешься, так иди же вон отсюда немедленно! – вскричали в один голос Фома и Кирилл.

– Уйду и унесу с собою ретивое, которое бьется любовью к родине так же сильно, как рука эта будет вертеть головы ваших заступников – челядинцев, и это так же верно, как то, что я называюсь Чурчилою! – сказал пристыженный и взбешенный витязь Новгорода и, натянув голицу свою, сжал кулак и быстрыми шагами вышел из веча.

– Я говорил тебе, что этот мальчик вреден и языком и кулаком своим Новгороду. Славу Богу, что я это узнал вовремя! – заметил, нахмурившись, Фома Кириллу.

– Он пылок, но добр. Однако здесь не время и не место объясняться о нем; теперь приходится всякому думать о себе, – с досадой ответил ему Кирилл.

– На сей раз довольно! – сказал владыко, вставая с своего места.

На его лице ясно отпечатывались следы глубоких дум.

Все встали за ним.

Колокол ударил несколько раз, означая окончание заседания, и народ, трепетно, с каким-то вешим, недобрый предчувствием смотрел на бояр, тихо и задумчиво расходящихся по домам.

XI На берегу Волхова

Ярко и весело светил месяц на землю, звездочки при нем чуть искрились, то пропадали, то снова сверкали в темной синеве горизонта, как резвые рыбки в чистой воде блистают своей серебристой чешуею.

В Новгороде ярко горели огни, но мрак вечера давно уже сгущался; наступала ночь, светлая, роскошная. Огни один за другим стали потухать, и скоро вечно живой город, слившись вдаль с горизонтом в один бледный свет, затих и заснул.

На берегу реки Волхов сидел пригорюнившись добрый молодец. С правой стороны его стоял оседланный конь и бил копытами о землю, потряхивая и звеня сбруею; с левой – воткнуто было копье, на котором развевалась грива хвостного стального шишака; сам он был вооружен широким двуострым мечом, висевшим на стальной цепочке, прикрепленной к кушаку, чугунные перчатки, крест-накрест сложенные, лежали на его коленях; через плечо висел у него на шнурке маленький серебряный рожок; на обнаженную голову сидевшего лились лучи лунного света и полуосвещали черные кудри волос, скатившиеся на воротник полукафтаны из буйволовой кожи; тяжелая кольчуга облегла его грудь.

Он молчал и лишь порою затягивал какую-то заунывную песню, глядя пристально и печально на Новгород и считая рассеянно волны, бившиеся о берег.

Вдруг ему послышался приближающийся от города звук конских копыт.

Он приложил ухо к земле – звук слышался явственнее, и конь его насторожил уши. Вскоре показался конник, осматривающий пристально окрестности, как бы в поисках. Заслышав шорох у берега, всадник свернул туда своего коня, взгляделся в полулежавшего молодца и радостно воскликнул: «Чурчило!», соскочил с лошади и заключил его в свои объятия.

– Постой, Димитрий, ты задушил меня, как слабого ребенка, – заговорил Чурчило (это был он), в свою очередь дружески обнимая прибывшего, – я и так насилу дышу, у меня на сердце камень, а в душе – сиротство несчастное!

– Так вот как поступают наши задушевные-то! – воскликнул Димитрий. – Помчался ты, как вихорь, невесть куда, и не сказал мне прощального словца! Бог тебе судья, Чурчило! А мы с тобой еще побратались на жизнь и смерть! Что я тебя изобидел, что ли, чем, словом, али делом, али нелюбым взглядом?

– Не кори меня ни тем, ни другим, брат названный, – вздохнул тяжело новгородский витязь. – Чудно тебе показалось отбытие мое из родного края, особливо же тогда, когда уже сковался и кольцом обручальным, но я еще чудное дело поведаю тебе.

Крупная, как градина, слеза, скатившись по щеке его, разбилась о кольчугу.

– Да что ты, богатырская косточка, ужели и впрямь заплакал, как баба? О чем же? Расскажи скорей, не терпится.

– Эх, замолчи молодецкое сердце! – заговорил снова Чурчило, ударяя себя в грудь. – Дай вымолвить тоску-кручину другу закадычному! Нет, я весел, Димитрий, право, весел, как этот месяц, – продолжал он, прикидываясь веселым. – Да и о чем тосковать? Красоток много на белом свете, а милая-то хоть и одна, да что ж? Коли забыла она слово клятвенное, не в омут же бросаться оттого, чертям в угоду.

Он улыбнулся, но эта улыбка была скорее болезненной гримасой.

– Так-то это так, – отвечал в раздумье Димитрий, – да вот мне невдомек: во-первых, я тебя не узнаю, ты ли это, Чурчило-сокол, кистень-рука, веселый, удалой, всем пример, который, бывало, один выходил на целую стенку; во-вторых, дивно мне, как могла разлюбить тебя Настенька, новгородская звездочка? Хоть родитель ее, степенный посадник Фома Крутой, и впрямь крут, да твой родитель, Кирилл, тоже посадник, не хуже его, они же с ним живут в

превеликом согласии; издавна еще хлеб-соль водят, так как и мы с тобой, бывало, в каждой схватке жизнь делили, зипуны с одного плеча нашивали, да и теперь постоим друг за друга, хоть ты меня и забыл, сподручника своего, Дмитрия Смелого.

– Постой, брат, не язви меня, дай передохнуть – все выскажу.

Глубоко и тяжело вздохнув, Чурчило начал:

– Ведомо тебе хлебосольство и единодушие отца моего с Фомою и то, как они условились соединить нас, детей своих; памятно тебе, как потешались мы забавами молодецкими в странах иноземных, когда, бывало, на конях перескакивали через стены зубчатые, крушили брони богатырские и славно мерились плечами с врагами сильными, могучими, одолевали все преграды и оковы их, вырывали добро у них вместе с руками и зубрили мечи свои о черепа противников? Бывало, радость привольная обуяет удалых такая, что десятью языками не сможешь рассказать о ней. И тот восторг, который чувствовал я в душе при взгляде на мою суженую, когда благословили нас Пречистой, когда вложили руку ее в мою и наказали нам жить в любви и согласии, – восторг, вознесший меня на седьмое небо! Ах, Дмитрий, если б ты знал, если б ты мог знать, как билось мое ретивое! Бывало и смерть была мне близкой соседкой, и острие меча мелькало перед самыми глазами, но я не пугался, отобьешь его, да свое запустишь по самую рукоять – и прав, и понесся далее, а тогда... О нет, не умно! Какая она была приглядная, как понимала меня! Как хотела нежить мою буйную голову на коленях своих! Настя, добрая, милая моя Настя!

С этими словами он крепко сжал руку Дмитрия и упал головой к нему на грудь, стараясь скрыть выступившие на глазах слезы, которых он стыдился.

Раздались сначала тихие, а потом громкие рыдания.

– Не одна она, и я понимаю тебя, добрый друг! – говорил Дмитрий, обнимая Чурчилу.

– Да, теперь ты у меня остался один, один на всем белом свете; теперь он почернел для меня. «Отсветила звезда моя, отсветила приглядная, покрылося саваном небо туманное». Как бишь дальше-то поется эта песня, которую сложил Владимир-утопленник?

– Полно, не обманывай ни себя, ни меня: до песен ли тебе, лучше расскажи, как поется дальше твоя-то песня.

– Слеза смыла пятно тоски задушевной, как будто я поделился ею с тобой! Отлегло немного от сердца. Слушай же дальше! Я, как водится, с большим поездом сватов и дружек, стал ездить к невесте своей разгульно и весело! Пироги у ней на столах высились горами, напитки лились разливом, и положили уже день, когда совершить наше благословенное дело. Этот день был торжеством для всего народа, день памяти по святой Софии, к которому отец Насти, Фома, хотел совсем изготавиться. Все шло своим чередом, старики наши отдались радости и руками и ногами, а дружки и все поезжане всей головой, пили они как на заказ, а мы... да и что говорить, так было привольно всем! Вдруг, точно ворон накаркал вину на нас бедных, нагрянул гонец из Москвы – и все пошло на разлад. Дорога мне моя Настя, не возьму я за нее всего мира подлунного, но родина... Сожму ретивое, заставлю молчать и променяю бесценную мою, стотысячную, на бесценнейшее сокровище – отчизну. После пусть сам умру несчетными смертями, не проживу мига без нее, зато на душе не будет зорно.

Чурчило молодецки тряхнул своими кудрями.

Дмитрий молча слушал исповедь друга.

– Ты знаешь клеветов Марфиных, – продолжал тот. – Они, в том числе и Фома, зачинщики всему делу, злоумышляют опять поддаться Литве, а у нас с тобой никогда не лежало сердце к этой челяди. Я, заслыша о том, протолкался в думскую палату и горячо заговорил с Фомою. Не любо стало ему это, рассерчал он на меня и назвал обидными словами. Я тоже и при отце своем и при всех советных мужьях задал ему такую отповедь, что пристыдил его, и тем накликал на себя немилость и ненависть. Когда же сердце отошло у меня, простыло от обиды его, я спохватился. Отец мой принял его же сторону и послал меня повиниться перед

ним. Я тотчас кинулся туда, куда душа моя давно просилась, и стал молить его забыть обоюдные распри наши и покончить скорей начатое дело.

Чурчило перевел дух.

– Когда бы ты видел, как он рассвирепел на меня! «Одно условие, – рявкнул он как зверь, – и я прощу тебя и назову сыном: приходи завтра на вече и на коленях при всем собрании выползай у меня прощение вины твоей. Да еще согласишься на все помышления наши: преклони голову перед прибывшими литвинцами и всячески их приветствуй, моли заступиться за родину. Иначе, выкинь из головы мысль называться моим сыном, да и дочь моя выбрала уже себе другого суженого». Слова эти затронули меня за живое. «Ползают одни гады, – отвечаю я ему резко, – а приветствовать литвин я должен не языком, а мечом. Когда бы им прислучилось добыть меня живьем и, загнув голову, держать нож над горлом, и тогда бы не стал я унижаться и чествовать их, просить пощады у заклятых врагов наших!» – «Так если же когда-либо занесешь ногу свою через подворотню мою, – завопил он, – я затравлю тебя лихими псами». – «Да я не захочу встречаться с тобой, ты злей их облаиваешь», – сказал я ему, как отрезал, и так сильно захлопнул за собой калитку, что ворота затряслись и окна задрезбужали.

– А что же отец?

– Отец мой напустился тоже на меня за то, как посмел я дерзко речь вести с чтимым посадником, близким его сотоварищем, зачем не уступил ему, не согласился на его условия. К жалу добавил он еще жару. «Стало, вы одной шайки!» – больше не мог я выговорить слова, выбежал на перекресток и начал клич кликать: «Верные мои молодцы-сотоварищи, кто хочет со мной рискнуть за добычею далеко, за Ново-озеро, к Божьим дворянам¹³, того жду я под вечер в «Чертовом ущелье». – Я сам вскочил на коня и не смел обернуться назад, чтобы косячатое окошечко Фомина дома не мигнуло бы мне привычным бывалым и не заставило воротиться, да пустился сюда, как на вражескую стену, ожидать...

Не успел он договорить эти слова, как вблизи послышался конский топот. Явилось множество всадников, брони которых сверкали при трепетном блеске луны. Раздался звон оружия, когда они, соскочив с коней, окружили своего удалого предводителя.

– Ну теперь прощай, друг! – сказал Чурчило, крепко обнимая Димитрия. – Она забыла меня! Но ты вспомни меня, умру не умну, а помчусь рассеять тоску-кручину или прах свой.

– Как! – воскликнул Димитрий. – И ты думаешь, что я пушу тебя одного без себя! Да мне и большой Новгород покажется широким кладбищем.

– Нет, Димитрий, – сказал Чурчило, – не жертвуй: у тебя дряхлый отец. Прости!

Закинув на руки поводья, он прыгнул в седло и вмиг исчез с своею дружиною.

Димитрий остался один.

– Да ведь отец мой любит больше стяжать сокровища, чем дорожить сыновнею любовью, – задумчиво говорил он сам себе, вспоминая последние слова Чурчило.

– Ты покинул меня, так я тебя не покину! – воскликнул он.

Луна скрылась в это время за облако и открыла его погоню за своим другом-братом.

¹³ Так называли новгородцы литовских рыцарей.

ХИ В доме Фомы

В день столкновения Чурчилы с посадником Фомой последний не возвращался домой из думной палаты до позднего вечера.

В доме посадника еще никто не знал о происшедшей распре жениха с отцом невесты, а потому по обычному порядку в дом к нему собрались на свадебные посиделки девушки – подружки невесты, которая еще убиралась и не выходила в приемную светлицу. Гости, разряженные в цветные повязки, с розовыми лентами в косицах и в парчовых сарафанах, пели, резвились и играли в разные игры, ожидая ее.

Скоро по извилистой лестнице, ведущей в эту светлицу, раздались стуки костыля и в дверях показалась, опирающаяся на него, сгорбленная старушка в штофном полушубке, в черной лисьей шапке и с четками в руках.

Девушки, завидя ее, кинули игры и, бросившись к ней навстречу, закричали:

– Ах, Лукерья Савишна, матушка! – подхватили ее под руки и начали с нею шутить, приглашая побегать да поплясать с ними.

– Ох, полноте, резвуньи, – говорила старуха, садясь в передний угол, кряхтя от усталости и грозясь на них костылем, – у вас все беготня да игры, а я уж упрыгалась, десятков шесть все на ногах брожу. Поживите с мое, так забудете скакать, как стрекозы или козы молодые. Да где же мое дитятко, Настенька-то?

– Она еще не выходила, а мы уж давно собрались жениха да гостей встречать хоть издали, – сказала одна из девушек.

– Пожалуй, мы вместо ее тебя повеличаем, Лукерья Савишна, – промолвила другая. – Запеть, что ли?

– Пошлите вы, – отвечала старуха, – провеличайте тогда, когда мне скоро уж запоют вечную память!

– Полно, что ты, Христос с тобою, Лукерья Савишна! Разве на свадьбе о похоронах думают? – вскричали все девицы, всплеснув руками.

– Да к тому уж время подходит, милые мои молодницы! – со вздохом произнесла старуха, задумчиво чертя по полу своим костылем. – Только бы привел Бог при своих глазах пристроить Настюшу, тогда бы спокойно улеглись мои косточки в могилу, – добавила она, прослезившись.

– Да полно же, перестань, так ты на нас тоску наведешь, повеселимся-ка лучше! – заговорили девушки.

– Нет, это ведь я так, к слову молвила, жаль дитятко стало, разлучают нас с нею, некому будет мне и глаза закрыть. Фома Ильич, Бог его ведает, как начал опять на вече ходить, и не приступишься к нему, такой сумрачный стал. Спросишь что, – зыкнет, да рыкнет, так по неволе не радость на ум-то, как обо всем пораздумаешь. Прежде я и сама не такова была: в посиделках ли, на пиру ли, на беседе ли, на Масляной ли в круговом катании, о святках ли в подблюдных песнях – первая и закатываюсь. Плясать ли пушусь – выступаю плавно, подопрусь рукой, голову набок, каблучками пристукну, да как пойду, пойду – все заглядываются...

Не успела Лукерья Савишна договорить свои воспоминания, как в комнату, в сопровождении сенных девушек, вошла невеста. Настасья Фоминишна была красивая, стройная блондинка, с белоснежным лицом, нежным румянцем на щеках и темными вдумчивыми глазами, глядевшими из-под темных же соболиных бровей. Не даром по красоте своей она считалась «новгородской звездочкой». Этой красоты достойной рамкой служил ее наряд. Атласная голубая повязка, блистающая звездочками, с закинутыми назад концами, облекла ее головку; спереди и боков из-под нее мелькали жемчужные поднизы с алмазами длинных серег; верх головы ее был открыт, сзади ниспадал косник с широким бантом из струистых разноцветных лент;

тонкая полотняная сорочка с пуговкой из драгоценного камня и пышными сборчатыми рукавами с бисерными нарукавниками и зеленый бархатный сарафан с крупными бирюзами в два ряда вместо пуговиц облегли ее пышный стан; бусы в несколько ниток из самоцветных камней переливались на ее груди игривыми отсветами, а перстни на руках и красные черевички на ногах с выемками сзади дополняли этот наряд.

Девушки кинулись к ней навстречу, окружили ее и повели к старушке, припевая всем хором:

Шла девица-голубица,
Свет наш, Настенька,
По крылечку, по тесову
Да по коврику.
Она шла, переступала,
Приговаривала:
Как роскошно, как богато
Здесь у батюшки;
Как приглядно, торовато
У родного мне.
Славно птичке поднебесной,
Резвой ласточке.
Порхать по полю чистому,
По зеленому,
Красоваться, любоваться
Светлым ведрышком,
Быстро виться, расстилаться
По поднебесью.
Так и Настеньке талантливой
Быть век девицей
Притаманней и привольней,
Чем молодушкой!
Вдруг откуда ни возьмися
Да на встречу ей
Идет молодец красивый
Словно писанный.
Ясноокий и румяный,
Кудри черные.
Он приветит ее речью
Сладкогласною:
Ты куда, моя девица,
Настя-звездочка?
Воротися, дай мне руку:
Я твой суженый!
Хорошо тебе, раздольно
В отчем тереме,
А с милым другом милее
Жить по бедности.
Мы согласно и советно,
По любовному,
Не увидим, как промчатся

Годы многие.
Настя дрогнула, смутилась
И потупилась;
Ее щеки жаром пышат,
Разгораются,
Ретивое бьется сильно,
Колыхается;
Словно сладкий мед вливают
Речи молодца,
И разнежась вздыхает
Тяжко, сладостно;
Исподлобья и украдкой
На него глядит
И с стыдливою ухваткой
Говорит ему:
Суженый, возьми девицу, –
Полюби меня.
И сверкнула на ресницу
Жемчугом слеза.

В то время, когда девушки приветствовали невесту этой песнею, она была в объятиях своей матери и, слушая с удовольствием приятные для нее напевы, скрывала на груди Лукерьи Савишны свое горящее лицо. Затем, как бы очнувшись, она начала целовать поодиночке своих подруг.

– Что это?.. На дворе уж давно вечер, а жениха нашего все нет. Да и отец что-то запропал на вече. Ну что ему там делать с ранней зари да доселе. Ведь всех не перекричать, – сказала старуха-мать.

– Уж не приключилось ли ему что недоброе? – заметила дочь, не спуская глаз с окошка.

– Кому, – спросила мать, смеясь, – отцу или жениху? Кто для тебя дороже?

Настя смешалась и молчала. Лишь после довольно продолжительной паузы вымолвила:

– Оба они неоцененные для меня, матушка, но батюшка дороже, он родитель, кормилец мой.

– Полно пустословить, Настюха! – перебила ее мать. – Я по себе это знаю: бывало, сидя на вышке, да взаперти в своей девичьей светлице, куда хочется найти такого человека, который бы вынес тебя оттуда, как заговоренный клад, и как он после того становится нам дорог. Вот мы с отцом твоим, так признаться сказать, не всегда ладили, норовом-то он крутенок и теперь. Сперва звались мы «голубками», хоть подчас и грызлись как кошка с собакой, а после стал он прозывать меня сорокою-трещоткою, – ведь вот какой обидчик. Да, впрочем, я ему сама не спускала: он меня за косу, я его за бороду – отступится поневоле. Я еще скромна, не все высказываю. Да что же ты, Настенька, призадумалась? Девицы, гряньте-ка песенку, да погромче какую, только не заунывную, что душу тянет, а так – поразгульнее, повеселей... Я и сама подтяну вам.

Старуха запела дребезжащим голосом:

Отставала свет-лебедушка
Прочь от стада лебединого.

– Да ты уж, кажись, и плакать собралась?.. О чем это? Да, да, мы расстанемся с тобой, неоцененное мое дитяtko. Отдаю я тебя в чужие люди! Осиротеем мы обе.

– Полно, родная, мне и без того моченьки нет, что-то так тяжело взгрустнулось, так вешее замерло, и сама не знаю о чем! – отвечала, всхлипывая, дочь.

– О чем?.. Ну, вестимо, о чем, что долго суженого нет. Вот приедет он – дам я ему себя знать!

– Да приедет ли он, матушка?.. Что-то мне и веры нет! Я ноне сон видела зловещий такой...

– Я сама – тоже. Будто отец твой, муж мой, обратился в медведя, еще страшнее стал, да и...

– Вот кто-то подъехал... Чу, уж и голос раздается в сенях. Должно быть, это они! – вскричали девушки, и мать с дочерью, несмотря на то, что последней вменялось в преступление самой показываться жениху, бросились встречать жданных гостей.

Девушки между тем запели:

Вылетал сокол ясный на долину,
Он искал соколицу, девицу,
Он сыскал себе...

– Анютка! Палашка! – кричала старуха своим девкам. – Ступайте, бегите скорей принимать кульки с гостинцами от жениха! Накрывайте столы. Пойте, пойте, девицы!

Девушки заливались.

Вошел Фома с несколькими незнакомцами.

– Что это? – угрюмо проговорил он. – Чего вы вопите? Гасите светцы и замолкните, теперь не до вас!..

– Как! Да что это ты затеял? – подхватила Лукерья Савишна, пятась от него и раскинув удивленно руками. – Зачем гасить светцы, да замолкать песням? Что ты ворожишь, или заклинать кого хочешь в потемках? Так ступай в свою половину, а в наши дела, жениха принимать, не мешайся.

– Жених ноне не будет! – грубо буркнул Фома и стал усаживать своих гостей, из которых один пристально и жадно вперил свои взоры в бледную, томную Настю.

– Чтоб тебе самому попригичилось, старому лешему! – проворчала про себя старуха. – Почему же? Что же ему подеялось? Не хворает ли он и помнит ли слово клятвенное? – пристала она к мужу с вопросами уже вслух.

– Нечистый его знает, отвяжись от меня! – закричал на нее Фома.

– И ты от меня с своей челядью сгинь с глаз долой! – не осталась в долгу Лукерья Савишна.

– Баба! – крикнул еще громче Фома. – Я вижу, у тебя волос долог, да и язык не короток, замолчи, а не то я его совсем вытяну или укорочу.

– Да что ты взаправду рассерчал и озлобился на меня без пути, уж нельзя и слово вымолвить! Мы ждали жениха, а не тебя с этими, – сразу понизила она тон.

– Чурчило более не жених моей дочери! Слышишь ли? Теперь об нем более ни слова. Скажи это Насте, чтобы и она не смела более помышлять о нем.

Старуха всплеснула руками, а Настя, сама услышав свой приговор, дико взглянула на отца изумленными, помутившимися глазами и бледная, как подкошенная лилия, без чувств упала на пол.

– Что ты, варвар, старый, что слово, то обух у тебя! Батюшки-светы! Сразил, как ножом зарезал детище свое... Разве она тебе не любя! – кричала и металась во все стороны Лукерья Савишна, как помешанная, между тем как девушки sprыскивали лицо Насти богоявленной водою, а отец, подавляя в себе чувство жалости к дочери, смотрел на все происходящее, как истукан.

– Что же теперь добрые люди скажут? Вот сердечный твой сынок старший, Павлуша нелюдимый, знать, более тебе по нраву пришелся! Тебе нужды нет, что он день-деньской шатается, да с нечистыми знается. Нет же ему моего материнского благословения! От рук он отбился, уж и церковь Божию ни во что ставит! Али его совесть зазрит, что он туда ноги не показывает? Али его нечистые заклили? Али сила небесная не пускает недостойного в обитель свою? Намедни он... – вопила старуха.

– Что ты отходную, что ли, читаешь дочери? – мрачно сквозь зубы прервал ее Фома, сурово сдвинув брови.

– Ахти, мои родные! Сгубил тебя варвар, мою крошечку!.. Заплатит ему Бог... – стала было причитать Лукерья Савишна, но силы ее оставили, и она, в последний раз всплеснув руками, как сноп упала подле дочери.

XIII

В Чертовом ущелье

Почти на конце Новгорода, далеко за Московскими воротами, был обширный пустырь, заросший крапивою и репейником. Вокруг него торчали огромные рогатые сосны, любимое пристанище для грачей, ворон и хищных зверей; в середине находилось ущелье, прозванное «Чертовым», – в нем под грудами хвороста и валежника водились всякие гады: змеи и ужи.

Недалеко от него стояла маленькая избушка с соломенною крышею и с двумя прорезами маленьких окон. Покосившаяся от времени дверь, сколоченная из трех досок, поминутно билась и скрипела на крючьях, то отворяясь, то затворяясь.

Предание об этой избушке было недоброе.

Старожилы уверяли, что они и не запомнят, кто построил ее. Место это обегали испокон века, и только запоздалый путник решался идти мимо нее, да и то в некотором отдалении, осеняя себя крестным знамением.

Рассказывали, будто дверь избушки, бьющая, как подстреленная птица крылом, была движима нечистой силой, которая нарочно заманивала любопытных внутрь избушки, откуда уже они никогда не возвращались.

Молва шла далее и утверждала, что в ней жил чернокнижник, злой кудесник, собой маленький старичишка, а борода с лопату и длинная, волочащаяся по земле; будто вместо рук мотались у него железные крючья с когтями, а ходил он на костылях, но так шибко, что догонял ланей, водившихся в округности. Днем он не показывался, заклятый еще святителем Ионой Новгородским, а по ночам прогуливался, если не на костылях, то верхом на огненном козле и с таким пронзительным свистом, раздававшимся по всему лесу, что распугивал всех хищных птиц, притаившихся в гнездах. Птицы стонали и били крыльями страшную тревогу по всему лесу.

Солнце глянуло своими лучами сквозь сырые облака на мрачные ели и сосны и зарумянило Красный холм, находившийся перед самой избушкой Чертова ущелья. Красным он был назван потому, что под ним злой кудесник погребал свои жертвы, и в известные дни холм этот горел так ярко, что отбрасывал далеко от себя красное зарево.

На этом холме сидело двое людей. Один из них – человек мрачного вида, в нагольном тулупе и в нахлобученной на глаза шапке из черной овчины, волосы его, черные, как душа закошеного убийцы, были нечесаны и взъерошены и высывались ключьями из-под шершавой шапки, так что трудно было догадаться, где кончается овчина и где начинаются волосы. Кудрявая борода, смуглое лицо, кушак, кованный из чугуновых колец, на котором висели заржавленные ножны, – ножом же он шаркал по брусу, – лежавшая подле него рогатина – все это показывало в нем если не хозяина сего места, то достойного его жилья, обыкновенно называемого «придорожным удальцом».

Вид его белокурого товарища был менее свирепым, но все-таки у постороннего зрителя могло сразу сложиться убеждение, что они – два сапога пара.

– Прощай же, Семен! – говорил задумчиво черный.

– Видно, ты далеко на добычу хочешь отшатнуться! Куда это? Что-то давно я вижу тебя таким сумрачным и что-то обдумывающим, – спросил его белокурый.

– Куда мне надобно! – уклончиво ответил тот.

– Слушай, Павел Фомич, – начал Семен, – грех тебе таиться от товарища, который мыкает с тобою жизнь заодно, готов наткнуться за тебя на нож и копье.

Помолчав немного, Павел отвечал:

– Так и быть, поведаю тебе что ни на есть мое задушевное. Мне скучно на родине, тесно в обширном городе, люди неласково смотрят на меня, да и сам я не люблю никого из них,

словно рожден быть не человеком... Ты знаешь, как я ненавижу Чурчилу, и вот за что: до него я слыл на кулачном бою первым бойцом и удалцом, но он раз меня сшиб так крепко, что я пролежал замертво целые сутки, а ты знаешь мой норов: али ему, али мне могила, без того жить не хочу. Ты знаешь и то, что случилось в нашем семействе. Если бы он не повздорил с отцом моим и свадьба их с сестрой состоялась бы, я уж готовил ему подарок в задравной чаре. Но толковать теперь некогда. Он далеко, ищет смерти, а я из стремя ноги не выпущу до тех пор, пока не найду его и не помогу ему в этом, то есть не всажу ему нож в горло. Он думал видеть во мне брата и обходился со мной всегда очень любезно, тем легче будет мне втереться к нему в дружбу. Давно бы выслал я его из белого света, да за него здесь заступников много, а там, где он теперь скитается, верней и ходчей найдется рука на его шею. Сам знаешь, грозен враг за горами, но грозней за плечами. А ты оставайся здесь рыскать по ночам за добром к прочим товарищам. Прощай, конь мой далеко, руки зудят.

С этими словами Павел быстро вскочил на своего коня и исчез, мелькнув раз-другой в чаще дерев.

– Вот оно что! – удивленно развел руками Семен, вытаращив глаза вслед удаляющемуся товарищу.

Оставим на время наших героев, дорогой читатель, вернемся для объяснения некоторых, описанных в предыдущих главах, исторических событий за несколько времени назад, причем заглянем в Московское княжество.

XIV Терем под Москвою

Тихо, мертвенно было в природе. Черные тучи густо обложили горизонт, изредка лишь мерцали на нем редкие звездочки, но и те одну за другою заволакивали дождевые облака.

Ночь уже совершенно спустилась на землю и покрыла ее как бы черным траурным крепом: молния изредка разрывала тучи, но этот мгновенный пожар неба еще более сгущал сумрак, висевший над землею.

Громовые раскаты долго и яростно звучали в пространстве.

Был конец августа 1477 года.

В нескольких десятках верст от Москвы и на столько же почти в сторону от большой тверской дороги стоял деревянный терем, окруженный со всех сторон вековыми елями и соснами. При первом взгляде на него можно было безошибочно сказать, что прошел уже не один десяток лет, когда топор звякнул последний раз при его постройке. Крылья безостановочного времени, видимо, не раз задевали его и оставили на нем следы свои. Добрые люди давно не заносили ноги через его порог.

Путники, застигнутые ночью, или непогодой, на большой дороге, редкие не знали, что на ней находится приятный шинок, содержимый одним жидовином по прозвищу Загреба, славившийся в то время на всю окрестность молодою брагою и молодою женою, которая была весела и так же гулива, как брага, и щеки которой были так же пышны и румяны, как поджаренные блины ее мужа.

Недобрые тоже давно не прокладывали следов к этому терему, зная, что в нем, кроме ветра, хозяйничавшего по gridням, ловить было некого, да и поживиться, кроме живших в нем старика и старухи, было нечем и не у кого.

Терем этот, огороженный высоким бревенчатым забором, разделялся длинными сенями на две ровные половины. Меньшая из них, состоявшая из одной светлицы, была занята упомянутыми стариками, а большая, по слухам, обитаемая нечистою силою, стояла запертою большою железной дверью, сквозь которую продеты были двойные заклепы, охваченные огромным замком с заржавленною петлей.

Шесть долгих зим провели в этом необитаемом тереме старик Савелий с женой Агафьей; недаром говорят, что привычка долго ли, а обращается во вторую природу: старики были довольны своею судьбою и друг другом. В последнем бывали исключения лишь тогда, когда Савелий, побывав в Москве за харчами, соблазняясь на возвратном пути елкой, гордо торчавшей над дверью шинкаря Загребы, ласково и умильно манившей к себе конных и пеших путников, заезжал будто ненароком к хозяину шинка спросить, нет ли какой ни на есть работишки, несмотря на то, что жидовин при всякой надобности всегда сам присылал за ним.

Савелий при этих посещениях не был обносим ковшом пенистой браги, а при выходе из шинка пазуха его всегда топырилась доброй краюхой пирога с капустой, данной ему на дорогу или в гостинец Агафье Сидоровне. После такого задабривания, гостеприимный Загреба уж и не спрашивался Савелия, можно ли ему в пределах леса, вверенного последнему, рубить дрова для варки браги и печения пирогов.

Только Агафья-то Сидоровна всегда недовольная встречала своего муженька, заметив, что у него лицо алое, как ее праздничная кича, а ноги и язык, видимо, заплетаются. Он же с похмелья был недоволен женою, когда она своим ворчанием прерывала его вместе грустные и сладостные воспоминания так недавно минувшего.

В сущности, они жили дружно, хотя и не припеваючи.

В описываемый нами поздний вечер зажженная лучина, воткнутая в железный светец, слабо освещала Савелия, сидевшего на скамье; подле него лежал готовый лапоть, другой он

плел, спеша закончить его к утру на продажу. Против него Агафья дремала под однообразное жужжание веретена, а последнему вторил сверчок за печкой.

Старики молчали.

Вдруг молния облила своим пламенем оконце светлицы.

– С нами крестная сила! – воскликнула Агафья, перекрестясь и выронив из рук веретено.

– Упаси Господи, какая гроза наступает! – сказал Савелий, также осенив себя широким крестом.

Вслед за громовым ударом вдруг забушевал ветер и полил проливной дождь: лес дрогнул, деревья порывисто закачались своими вершинами.

– Сидоровна, – сказал Савелий, – заслони-ка окончину-то ставнем, а то задует лучину.

Старуха поплелась, но только лишь подошла к окну, как в него ворвался порыв ветра, лучина вспыхнула и потухла. Вместо нее ослепительно блеснула молния и осветила под окнами движущиеся фигуры людей.

– Батюшки-светы, что это? – воскликнули в один голос старики, пораженные такою массою неожиданностей, но раскат грома заглушил их слова.

– Эй, кто здесь живет, добрые люди или недобрые? Укройте от темной ночи и непогоды заплутавшихся, – раздался у окна громкий голос.

– Да поскорей, – поддержал другой хрипловатый, дрожащий, видимо от холода, голос.

– Баба! вздувай огня, – заговорил Савелий, пришедши в себя, – а я побегу отворить ворота.

– Как бы не так, вздувай огня! – передразнила Агафья мужа вполголоса. – Да кого это нелегкая принесла в такую пору. Стану я светить всяким бродягам. По мне они хоть все бельмы повыколи себе о рожны, поberi их нелегкая!

– Аль хозяев нет, аль они нехристи какие, что не могут пустить нас на часочек пообогреться да пообсушиться? – повторял за окном хрипловатый голос.

– Да что тут попусту толковать... Ишь – ни привету, ни ответу... Если бы они были добрые люди, то сами бы позвали нас, а с злыми чиниться нечего! – прервал его громкий голос. – Если совсем нет хозяев, то мы и без них обойдемся... Терем не игольное ушко – пролезем... Эй, люди, ломайте ворота, а я попробую окно...

По стуку ножен меча не трудно было догадаться, что говоривший спрыгнул с лошади.

– Иду, сейчас, вот только накину зипунишко! – закричал Савелий, струсив перед решительными поступками незваных гостей.

Через несколько минут, медленно скрипя, растворились ворота, и Савелий вышел из них, тараща глаза, как бы желая рассмотреть сквозь окружающий густой мрак приезжих.

– Входите, вот сюда, за мной... Да много ли вас? – с тревогой спрашивал он.

– Всего четверо, – ответил ему громкий голос, ощупав его плечо и ухватясь за него, – авось углы твоей светлицы не растреснуты от нас.

Остальные трое, введя на двор лошадей, ухватились тоже один за другого и, таким образом, медленно, гуськом, ошупью, вступили в обиталище Савелия.

XV

Поздние гости

– Да посвети нам, хозяин, нам не в чумички играть; нет ли хоть на алтын огоньку! – заговорили приезжие, войдя в светлицу Савелия.

– Шарю... родимые... Куда-то в впотьмах светец обронил, – отвечал с расстановкой хозяин. – Жена, баба, хозяйка! – продолжал он. – Ты куда еще запропастилась? Вздуй-ка господам огоньку. Небось они не тронут.

Молния блеснула и осветила Агафью, выползавшую, как ящерица, из-под печки.

– Ха-ха-ха! Видно, хозяйка там цыплят высиживает! – захохотали приезжие. – Ты бы ее крышкой покрыв, а то сглазят.

Молния повторилась. Агафья приподнялась с пола и, прокравшись по стене к мужу, начала что-то шептать ему.

– Что? Не хочешь вздуть огня? Вот дам я тебе затрещину, так поневоле засветишь, как искры из глаз посыплются, – отвечал ей тоже полупшепотом Савелий.

Агафья, ворча себе что-то под нос, отыскала трутницу, высекла огонь, вздула его на лучину и осветила светлицу и находившихся в ней.

Четырехугольная, обширная светлица, вопреки своему названию, была закопчена, как угольная яма. В переднем углу, в божнице, стояло несколько икон в медночеканных окладах; под божницей висела запыленная занавеска, прикрывавшая полку, на которой лежали писанные святцы и четки из Богородицыных слезок. В передней стене находились два узкие продолговатые окна, называемые красными. В рамках были вставлены стекла, – что для описываемого нами времени составляло значительную роскошь, так как они получались из чужих краев, – только кой-где, вместо разбитых верешков, была наклеена холстина, обмазанная маслом. В боковых стенах были волоковые окна, заткнутые говяжьими пузырями. Все это, как и колоссальная изразцовая печь, указывало, что светлица была некогда обитаема не Савелием с Агафьей, а ближними боярами великого князя.

По стенам светлицы были лавки, а в переднем углу стоял вымытый и выскобленный стол; в заднем, на двух столбах, стояло корыто, над которым находились полки с разной посудой.

Агафья, засветив огонь, стала у шестка, обтирая руки о полосатую поневу, и исподлобья оглядывала поздних гостей; недалеко от нее Савелий был занят тем же самым.

Посредине светлицы стоял высокий средних лет мужчина, с открытым, добродушным лицом, в камлотовой однорядке, застегнутой шелковыми шнурками и перехваченной казыблатским¹⁴ кушаком, за которым заткнут был кинжал. Широкий меч в ножнах из буйволового кожи, на кольчатой цепочке, мотался у него сбоку, когда он отряхивал свою мокрую шапку с рысью опушкой. На ногах его были надеты сапоги с несколько загнутыми кверху носками; на мизинце правой руки висела нагайка.

Подле него стоял, недоверчиво озираясь, другой человек, постарее, но плотный, с редкой бородою, с широкою плешью на голове и с быстрыми маленькими глазками, одетый почти так же, как и его товарищ, исключая разве вооружение, которое у этого состояло из одного широкого ножа с серебряной рукояткою.

¹⁴ Персидским.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.